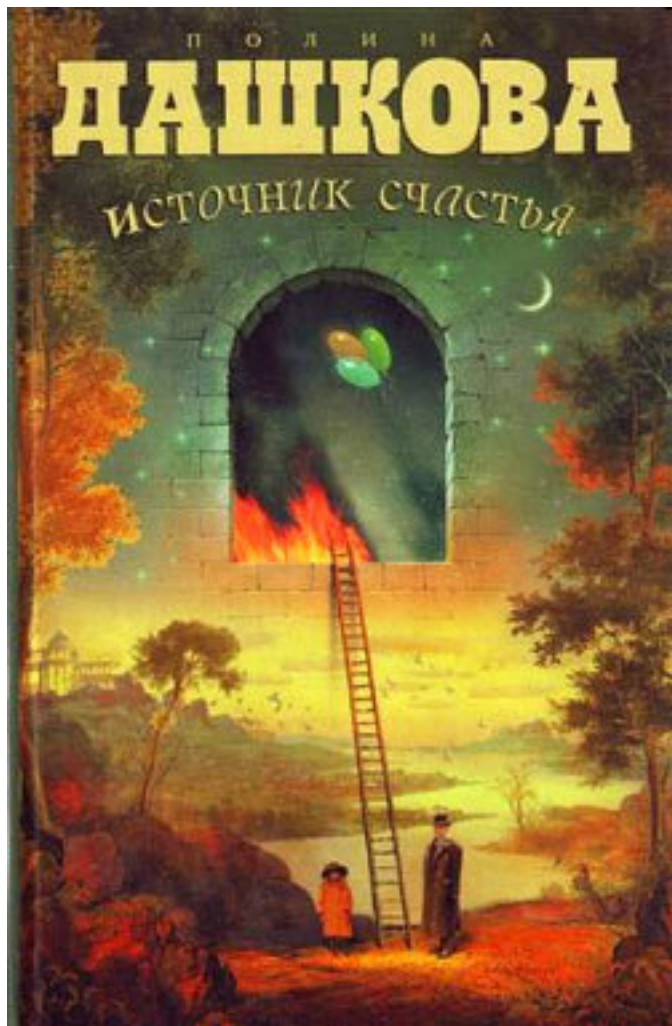


П О Л И Н А

ДАШКОВА

ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ



Полина Викторовна Дашкова

Источник счастья

Серия «Источник счастья», книга 1

Текст предоставлен издательством «АСТ»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=152849

П. Дашкова Источник счастья: АСТ, Астрель, Харвест; Москва; 2007

ISBN 5-17-042909-6, 5-271-16503-5, 978-9985-16-0697-5

Аннотация

Петр Борисович Кольт – миллиардер. Нет такой сделки, которую он не сумел бы заключить. Он может купить все, что пожелает. Он привык побеждать и не терпит поражений. Он хочет вернуть молодость и жить вечно.

Петр Борисович не верит мифам о философском камне и стволовых клетках. Его интересует таинственное открытие, сделанное в Москве в 1916 году военным хирургом профессором Свешниковым.

Никто не знает, в чем суть открытия. Все записи профессора исчезли во время революции и гражданской войны. Сам он тоже исчез. Неизвестно, где и когда он умер. И умер ли вообще?..

Содержание

Глава первая	5
Москва, 1916	5
Москва, 2006	15
Москва, 2006	33
Глава вторая	41
Москва, 1916	41
Москва, 2006	52
Москва, 1916	60
Москва, 2006	70
Москва, 1916	76
Глава третья	84
Москва, 1916	90
Москва, 2006	98
Москва, 1916	108
Москва, 2006	114
Москва, 1916	121
Москва, 2006	131
Москва, 1916	135
Глава четвертая	138
Москва, 1916	142
Москва, 2006	149
Москва, 1916	157
Москва, 2006	162

Москва, 1916	168
Глава пятая	176
Конец ознакомительного фрагмента.	183

Полина Дашкова

Источник счастья

Глава первая

Москва, 1916

Квартира профессора Свешникова Михаила Владимировича занимала четвертый этаж в новом доме по Второй Тверской-Ямской улице. Профессор был нестар, вдов, имел троих детей. Злые языки утверждали, что всех их он вырастил в пробирках. Среди окрестных торговек ходили слухи, будто этот доктор оживляет покойников, умеет оборачиваться черной собакой и белой мышью, живет две тысячи лет. Получил дворянство, звание профессора и царского генерала при помощи черной магии, а также японской и немецкой разведок.

Впрочем, ни сам Михаил Владимирович, ни его домашние об этих слухах не ведали. Только горничная Марина, тихая полная девушка двадцати пяти лет, иногда после похода в бакалейную лавку пыталась делиться рассказами торговек с няней, Авдотьей Борисовной, старой и почти глухой. Когда Марина громко шептала ей на ухо, Авдотья Борисовна вздыхала, охала и качала головой. Она думала, что Марина гово-

рит о каких-то вымышленных персонажах, о ком-то из газет или из книжек. Она ни на миг не могла вообразить, что речь идет о ее драгоценном Мишеньке, которому она когда-то, в другом веке, была не только няней, но и кормилицей.

Москва кишела медиумами, предсказателями, гипнотизерами, хиромантами, колдунами – на любой вкус. В том же доме над квартирой профессора жил спирит Бубликов, и даже табличка на двери блестела «Доктор эзотерики, великий маг, заслуженный спирит Российской Империи Бубликов А.А.». Но почему-то он интересовал торговок куда меньше, чем профессор Свешников.

Темным январским утром 1916 года, в седьмом часу, из окна четвертого этажа, выходявшего во двор, раздался отчаянный женский визг. Дворник Сулейман воткнул лопату в сугроб, посмотрел вверх. Форточка была приоткрыта, сквозь плотные шторы пробивался яркий электрический свет. Полоска света лежала на темном сугробе, и отдельные снежинки искрились в ней, как россыпь мелких алмазов.

За визгом ничего, кроме тишины, не последовало. Дворник снял варежку, тихо и тщательно помолился Аллаху.

В бывшем обеденном зале, отведенном под лабораторию, старая горничная Клавдия сидела на полу и нюхала нашатырь. Над ней склонился профессор Свешников. Небритый, сонный, в шелковом стеганом халате, с полотенцем вокруг шеи, в теплых домашних туфлях, он только что выскочил из ванной комнаты на крик горничной.

– Ну, ну, тихо, Клавушка, будет тебе трястись, – говорил профессор приятным, хриплым со сна баритоном, – успокойся и расскажи все по порядку.

Клавдия шмыгнула носом, подняла дрожащую руку и указала в дальний угол, туда, где за больничной клеенчатой ширмой стояли три небольших стеклянных ящика с частыми дырочками для воздуха. В одном метались и беззвучно пищали две жирные белые крысы. В другом копошилась дюжина маленьких крысят. Третий был пуст.

– Ты открывала клетку?

Клавдия категорически замотала головой. Михаил Владимирович поднял ее под мышки, довел до кушетки, усадил и решительно направился в крысиный угол.

Толстое прочное стекло треснуло в нескольких местах. Круглая металлическая крышка была откинута. Тонкая сосновая стружка, выстилавшая дно ящика, валялась вокруг, на полу.

– Ты видела его? – спросил профессор Клавдию, разглядывая свежие царапины на металле, сломанную маленькую задвижку.

– Еще бы не видела! Кинулся на меня, нечисть, и откуда только силы у него, старый, больной насквозь. Почти уж издох, а прыгнул прямо вот на такую высоту. – Клавдия отмерила метра полтора от пола. – Чуть в лицо не вцепился, сволочь, едва от него, заразы, веником отбилась.

Горничная Клавдия была женщина богобоязненная, мол-

чаливая и чопорная. Никогда она не тараторила, не повышала голоса, не произносила бранных слов. Сейчас щеки ее пылали, глаза блестели. Она дрожала, как в лихорадке, и облизывала пересохшие губы. Михаил Владимирович по старой докторской привычке прижал пальцы к ее запястью, машинально отметил про себя, что пульс бешеный, не меньше ста пятидесяти в минуту, и что у него самого точно такой же.

– погоди, ты хочешь сказать, он свалился откуда-то? – уточнил профессор и огляделся.

– Да какой – свалился?! Нет!

– Ну, а что же? Подпрыгнул прямо от пола? Вот на такую высоту? – Михаил Владимирович нервно усмехнулся.

– Взлетел вверх, будто он птица, а не крыса. Ай ты, ба-тюшки, да что же это? – Клавдия открыла рот, вытаращила глаза.

Стало тихо. В тишине раздавался шорох лопаты дворника, убиравшего во дворе снег. К этому звуку прибавился другой, упрямый и тревожный скрип.

Плюшевая коричневая штора дергалась быстро и сильно, как будто ожила. Конец массивного деревянного карниза с треском пополз вниз, посыпалась штукатурка.

Первым опомнился профессор. Одним прыжком он долетел до окна и упал на скачущую штору.

– Клава, эфир, быстро! И перчатки, перчатки надень!

Михаил Владимирович стоял на коленях. Пойманная штора металась и пищала в его руках. Он сопел и отдувался.

Глаза его сияли, под серой щетиной проглядывал румянец. Он был похож на вратаря, который поймал мяч в последний момент, когда матч почти проигран.

– Нет! – шепотом крикнула Клава. – Я не могу! Бог свидетель, Михаил Владимирович. Не могу. Вы морду его видели? Глаза видели?

– Перестань, это всего лишь крыса. Надень перчатки.

Сверху качался карниз. Он едва держался на одном винте. Медный шар-наконечник грозил обрушиться на профессорскую голову. Клавдия сидела неподвижно, только губы едва заметно шевелились. Она бормотала молитву.

– Ладно, иди. Разбуди Таню, – сказал профессор.

Старая горничная резво вскочила, убежала и в коридоре у самой двери налетела на барышню семнадцати лет, дочь Михаила Владимировича. Таня уже сама проснулась от шума. В желтом пеньюаре, тонкая, голубоглазая, с распущенными светлыми волосами до пояса, она спешила в лабораторию на помощь отцу.

Через четверть часа на маленьком операционном столе возлежал усыпленный эфиром толстый зверек. Это была лабораторная крыса, вернее, крыс. Совершенно белый, но с рыжим пятном под нижней челюстью. Странная, невероятная для крысиного рода отметина по форме своей напоминала отчетливую пентаграмму, пятиконечную звезду, перевернутую верхушкой вниз.

– Не иначе, прапрабабка этого крыса согрешила с кем-то

из предков няниного кота, – заметила однажды Таня, – у красавца Мурзика на шее точно такое пятно, правда, круглое.

– Исключено, – возразил Михаил Владимирович. – Между кошками и крысами такие отношения невозможны.

Таня тогда смеялась до икоты. Ее ужасно забавляло выражение отцовского лица в моменты глубокой сосредоточенности, когда он переставал понимать шутки и даже самые абсурдные предположения обдумывал всерьез.

– Давай назовем его Гришка, в честь Распутина, – предложила Таня и тронула пальчиком рыжую пентаграмму.

– Сколько раз я тебе говорил: подопытным животным имена давать нельзя, только номера, – нахмурился отец. – И при чем здесь мистический мужик Ее Величества? Не он один в мире зовется Григорием. Мендель, основоположник генетики, тоже был Григорием.

– Тем более! Я буду звать его Гришка Третий! – веселилась Таня.

– Не смей! При мне, во всяком случае! – злился отец.

Диалог этот произошел около года назад. С тех пор Таня постоянно называла подопытного крыса с рыжим пятном Гришкой Третьим. Михаил Владимирович не заметил, как сам стал звать его так же.

Сейчас оба они, отец и дочь, растерянно смотрели на спящего зверька. Розовый голый хвост слегка подрагивал. Лапки, похожие на миниатюрные, изящные дамские ручки, произвели несколько слабых скребущих движений и успокои-

лись.

– Нет, папа, это не Гришка, конечно, – сказала Таня и зевнула. – Смотри, шкурка белая, пушистая, розовые склеры. Кожа мягкая, молодая. А где пятно? Ну где, покажи, пожалуйста.

– Вот оно. На месте.

– Все равно не верю. У Гришки огромное потомство, кто-то из очередного помета мог унаследовать рыжую пентаграмму. Это внук или правнук. Гришка почти весь облысел после операции.

– Облысел. Но теперь оброс.

– Так быстро?

– За месяц. Это нормально.

– И окрас новой шерсти в точности как прежний, та же пентаграмма на горле?

– Как видишь.

– У Гришки должен быть шрам на черепе. Где он? Никакого шрама нет.

Танина рука в черной медицинской перчатке осторожно перевернула крысу на брюшко. Михаил Владимирович взял большую лупу, разгреб густую блестящую шерсть на крысиной холке.

– Вот он, шрам. Совсем маленький.

– Папа, перестань! – Таня помотала головой. – Рана не могла зажить так быстро, и шерсть не могла вырасти. Ты же не алхимик, не средневековый маг, не доктор Фауст! Ты сам

отлично понимаешь, что это чушь и бред. Над тобой смеяться будут. Не может крыса двадцати семи месяцев от роду выглядеть вот так, не может! Двадцать семь месяцев для крысы – это все равно что девяносто для человека.

– Эй, погоди, а что ты так кричишь? Почему ты перепугалась, Танечка? – Доктор погладил дочь по щеке. – У старого крыса выросла новая молодая шерсть. Порозовели склеры. Бывает.

– Бывает? – крикнула Таня, стянула перчатки и отшвырнула их в угол. – Папа, ты, кажется, с ума сошел! Ты же сам уверял, что биологические часы никогда не идут вспять.

– Не кричи. Помоги мне взять у него кровь на анализ, пока он спит, и подумай, как нам укрепить крышку клетки, чтобы он опять не выскочил.

Михаил Владимирович уже держал в руках стальное перышко и чистую пробирку. Таня быстро скрутила в узел мешавшие ей волосы, повязала низко на лоб косынку, надела чистые перчатки. При этом она продолжала громко, нервно говорить:

– Он родился 1 августа четырнадцатого года, этой даты забыть нельзя. Война началась. Он единственный из помета выжил. Хилый, но агрессивный.

– Вот именно, агрессивный, – пробормотал Михаил Владимирович, счастливо шурясь.

Капля крысиной крови скатилась в тонкую пробирку. Таня взяла сонного крыса и, пока несла его назад, в ящик, чув-

ствовала сквозь перчатку тепло и пульсацию мягкого тельца. На миг ей показалось, что в руках у нее не лабораторный зверек, каких она перевидала с детства великое множество и совершенно не боялась, а существо странной, неземной породы. Она покосилась на отца, склонившегося к микроскопу. На макушке у него сквозь жесткий седой бобрик розово сияла лысина. Гришка зашевелил лапками. Эфир переставал действовать. Таня опустила крыса в ящик, на стружку, сверху придавила крышку тяжелой мраморной подставкой от чернильного прибора.

– Будешь его вскрывать? – спросила Таня, стягивая перчатки и косынку.

Вопрос пришлось повторить громче. Отец прилип к микроскопу.

– А? Нет, еще понаблюдаю. Прикажи там, пусть ставят самовар. Ну, что застыла? Иди, опоздаешь в гимназию.

– Папа!

– Что, Таня?

– Скажи, тебе удалось выделить тот самый белок?

– Не знаю. Вряд ли.

– Тогда почему?

Михаил Владимирович поднял наконец голову от микроскопа и посмотрел на дочь.

– Все просто, Танечка. Он соблюдал диету, активно двигался. Клетка ближе других к окну, форточка открыта, он дышал свежим воздухом.

– Папа, перестань! Ты тоже соблюдаешь диету и дышишь свежим воздухом!

Михаил Владимирович ничего не ответил. Он опять прилип к микроскопу. Таня вышла из лаборатории, тихо затворив дверь.

Москва, 2006

В прихожей заливался звонок. На тумбочке чирикал соловьем мобильный, сообщая, что пришла почта. Соня проснулась и тут же увидела папу. Он сидел на краю кровати, приложив палец к губам, и мотал головой.

– Не открывай, – прошептал он, – ни за что не открывай.

Соня встала, накинула халат поверх пижамы, прошлепала босиком в прихожую. Папа остался сидеть, ничего больше не сказал, только проводил ее грустным детским взглядом.

– Лукьянова Софья Дмитриевна? – спросил мужской голос за дверью.

– Да, – просипела Соня и закашлялась.

– Откройте, пожалуйста. Вам посылка.

– От кого?

За дверью что-то сухо зашуршало.

– Прочтите сообщение на мобильном. Оно поступило двадцать минут назад, – произнес глухой мужской голос.

Возвращаясь в комнату за телефоном, Соня взглянула в зеркало. Ветхий мамин халат болтался на тощих плечах, как мешок на огородном пугале. Бинт за ночь съехал на шею, волосы безобразно свалились, в них запутались клочья ваты. Правое ухо от спиртовых компрессов покраснело, распухло и шелушилось. Судя по ознобу, температура с утра у нее была не меньше тридцати восьми. В ухе продолжало стрелять

и булькать, ныла вся правая половина головы.

«Уважаемая Софья Дмитриевна! Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю здоровья и творческих успехов! И.З.».

Это сообщение было последним. Оно действительно пришло двадцать минут назад, то есть в половине одиннадцатого. Перед ним пришло еще три. Соня не стала их читать, захлопнула телефон, поплелась назад, в прихожую.

– Не открывай, – шепотом повторил папа.

Теперь он стоял рядом. Щеки порозовели. Трепетал нежный седой пух на макушке. Глаза казались больше и ярче.

За дверью было тихо.

– Эй, вы еще здесь? – спросила Соня.

Ответа не последовало.

– Кажется, ушли, – сказала Соня папе. – Я все-таки открою, посмотрю. Ладно?

Папа испуганно замотал головой.

Из-за температуры, из-за боли и постоянной стрельбы в ухе все было подернуто вязкой мутой, как будто воздух в маленькой квартире сгустился.

– Ну чего ты боишься? – спросила Соня. – Тебе просто приснился плохой сон.

– Нет, – сказал папа, – это не сон. Это все наяву, Сонечка. Прощу тебя, не открывай дверь.

– Никогда?

– Не знаю. Во всяком случае, сейчас не надо.

Несколько секунд они стояли и молча смотрели друг на друга.

– Ладно. Мне все равно. Я лягу, – сказала Соня. – Ты не помнишь, где у нас градусник?

Папа шагнул к ней и прикоснулся губами ко лбу.

– Тридцать восемь и два. Градусник ты разбила вчера ночью. Не забудь, пожалуйста, вынести ртуть из-под кровати. Ты же знаешь, как это вредно.

– Хорошо. А где веник?

– В машине. Ты стряхивала снег и оставила веник в багажнике. А второго у нас нет. Но не вздумай за ним идти. Там метель, очень холодно. Ртуть можно собрать влажной тряпочкой. Я бы сам это сделал, но...

Из комнаты послышалась соловьиная трель мобильного. Опять пришло сообщение. В дверь позвонили, на этот раз так пронзительно громко, что Соня вздрогнула.

– Софи, ты дома? Спишь, что ли?

Этот голос нельзя было не узнать. Раскатистый, зернистый бас. Почти каждый день он звучал за кадром по телевизору на одном частном непопулярном канале. В кадре при этом обычно показывали рекламу электронных излучателей, которые лечат синусит, ожирение и воспаление предстательной железы; жгучих целительниц, которые снимают порчу и возвращают блудных мужей; аппаратики для удаления нежелательных волос и выращивания желательных. Папа включал именно этот канал, специально, чтобы послушать, как

Нолик пьющий рекламирует своим авторитетным басом таблетки для лечения алкоголизма, как Нолик толстый рассказывает о новейших методах мгновенного похудения.

Блудная жена ушла от Нолика год назад. К ворожеям он не обращался, вместо этого торчал вечера напролет на кухне у Лукьяновых и говорил, что жизнь кончена.

– Софи, это я! Открой!

Бас Нолика звучал бодро и радостно. Соня подумала, что дело совсем плохо. Раньше по утрам он не напивался. Несколько минут она возилась с замками. Папа стоял рядом и напряженно молчал. Дверь наконец открылась.

– Мяу-мяу! – сказал Нолик.

Его круглая физиономия сияла. Выпив, он всегда мяукал. Но вместо запаха перегара Соне ударила в ноздри густая свежая волна аромата живых цветов. Нолик держал под мышкой огромный букет роз. Багровые, почти черные тугие бутоны были усыпаны капельками воды.

– Поздравляю. – Он перешагнул порог и потянулся губами к Сониной щеке.

– С ума сошел? – спросила Соня и поморщилась от очередной пулеметной очереди в ухо.

– К сожалению, врожденная честность не дает соврать, – вздохнул Нолик и выпятил нижнюю губу, – это не я. Они лежали на коврике у двери. Я только слышал, как кто-то спустился на лифте. Если ты сейчас быстренько посмотришь в окно из кухни, ты, может быть, успеешь увидеть.

– Веник, – произнесла Соня и зашлась кашлем.

– Какой веник?! Шикарные розы! Ну, ты даешь, Софи! – возмутился Нолик. – Красота немыслимая, посмотри, понюхай! Надо обязательно обрезать и обжечь стебли.

– Ключи от машины в кармане моей синей куртки, спустись и принеси, пожалуйста, веник. Он в багажнике. Я разбила градусник, нужно смести ртуть.

– А, понял, – кивнул Нолик. – Сейчас сделаю. Только не бросай розы, поставь их в воду.

Дверь за ним закрылась. Соня осталась стоять, обняв обеими руками шуршащий букет. Большой вазы в доме не было. Единственной посудиною, подходящей по объему, оказалось пластиковое помойное ведро. Соня вытащила из него мешок с мусором, ополоснула, налила воду. Пока она возилась с цветами, вернулся Нолик. Вместе с веником он принес небольшой коричневый портфель и торжественно вручил Соне.

– Помнишь, как говорит моя мама, когда теряются нужные вещи? Где-нибудь лежит и молчит! Вот, он валялся под передним пассажирским сиденьем и, конечно, молчал. Хотя, даже если бы он и мог что-то сказать, его бы вряд ли услышали.

Это был папин портфель. Он пропал как раз в тот ужасный вечер, девять дней назад.

– Папа! – позвала Соня. – Иди сюда, смотри, Нолик нашел твой драгоценный ридикюль.

– Не кричи, – прошептал папа, – я отлично слышу. Я тут, рядом.

Он действительно стоял рядом, прямо перед Соней. За несколько минут лицо его осунулось, состарилось, щеки сморщились и побледнели, подернулись серой стариковской щетиной, седой пух пригладился, прилип к коже. Глаза стали тусклыми и такими безнадежными, что Соню пробрал озноб.

– Ты совсем не рад, что нашелся портфель? – тихо спросила Соня.

Папа скорбно покачал головой и положил руки ей на плечи. Руки были слишком тяжелые и теплые. Соня крепко зажмурилась, пытаясь унять головокружение, а когда открыла глаза, увидела испуганное лицо Нолика, почувствовала его огромные лапы на плечах.

– Софи, посмотри на меня! Это я, Софи! Ты вообще меня видишь? Слышишь? Что за веревка у тебя на шее?

– Дурак! Это не веревка, а бинт. У меня, Нолик, воспаление среднего уха, я делала на ночь компресс, и он съехал. Я тебя отлично вижу и слышу. В чем дело?

– Ты только что разговаривала с Дмитрием Николаевичем.

– Да. И что?

Нолик прижал ладонь к ее лбу.

– У тебя жар. Но не такой сильный, чтобы бредить. Приди в себя, пожалуйста.

Бедняга Нолик так испугался, что от легкого утреннего

хмеля не осталось и следа. Соня пришла в себя, исключительно ради Нолика, чтобы он не волновался.

– Все нормально. Я в порядке. Я знаю, что папа умер, в прошлую среду мы его похоронили, и сегодня девятый день.

– Уф-ф, слава Богу, – вздохнул Нолик, – ты только забыла добавить, что сегодня еще и день твоего рождения. Тебе, Софи, стукнуло тридцать лет. Здесь тридцать одна роза. Некто добавил один цветок, потому что четное число в букете – плохая примета. Только такая пофигистка, как ты, могла поставить розы в помойное ведро. Воды хотя бы налила?

– Естественно! Арнольд, почему ты не подарил мне на день рожденья большую красивую вазу?

– У меня для тебя другой подарок. Но ты, Репчатая, его не получишь, если будешь называть меня Арнольдом. Еще раз услышу – уйду.

– Ага! Кубарем выкатишься, если еще раз назовешь меня Репчатая!

Секунду они смотрели друг на друга грозно, как будто собирались подраться. Нолик возмущенно пыхтел. Лет двадцать назад они бы, правда, подрались, не больно, но обидно. Нолик терпеть не мог своего полного имени – Арнольд. А Соню раздражало детское прозвище Репчатая. Тут же возникал в памяти школьный коридор, зеленые масляные стены, серый в стрелочку линолеум, топот ног за спиной и крики: «Лукьянова! Лук! Луковица репчатая!»

Нолик учился в той же школе, двумя классами старше,

и жил когда-то в квартире напротив. Именно из-за него за Соней тогда гнались и обзывали Репчатой. Он нравился самой энергичной девочке в Сонином классе, Нине Марковой. Нина писала ему записки и требовала, чтобы Соня работала почтальоном. Нолик отказывался отвечать, энергичная Нина ему совсем не нравилась, и в итоге виноватой оказалась Соня. Все это была забытая детская чушь, но с тех пор кличка Репчатая ассоциировалась у Сони с крайней степенью недоброжелательности.

– Все из-за тебя! – сказала Соня и впервые за прошедшие девять дней улыбнулась, глядя на хмурого, толстого, смешного Нолика.

Он давно стал для нее уже не другом детства, а родственником, младшим братиком, хотя был старше. Толстый, пьющий, балованный Нолик, без признаков мужественности, с нестабильным доходом и тяжкими амбициями несостоявшегося актера.

– Что – из-за меня? Я, между прочим, отменил на сегодня все озвучки по случаю твоего юбилея. Я рано встал, тащился к тебе в метель, через всю Москву.

– Мог бы просто позвонить.

– Ты трубку не берешь.

– Да? Правда? А почему?

– Слушай, может, тебе врача вызвать?

– Ха-ха, я сама врач.

– Ничего не ха-ха. Ты не врач, ты биолог. Тебе нужен этот,

как его? Ухо-горло-нос.

– Иди на фиг. Лучше вымети ртуть из-под кровати, напои меня чаем, потом сбегай в аптеку и стань мне хотя бы на один день родной матерью.

Нолик с готовностью засутился, проводил Соню в папину комнату, уложил на тахту, накрыл пледом, ушел выметать ртуть.

Портфель оказался странно легким, как будто внутри почти ничего не было. Соня поставила его на папин письменный стол и старалась не смотреть на него. Слишком сильно было искушение открыть прямо сейчас.

Недавно папа летал в Германию. Пробыл там двенадцать дней. Сказал, что летит в гости к своему бывшему аспиранту Резникову. Вернулся задумчивый, мрачный. Почти не разговаривал с Соней. И ни на секунду не расставался с этим портфелем. Он купил его там, в Германии.

– Дай посмотреть, – просила Соня.

У нее была слабость ко всяким сумкам и портфелям. Она уже заметила, что на папином портфеле есть боковые кольца для наплечного ремня. У Сони на плече эта элегантная дорогая вещица смотрелась бы очень стильно.

Он не дал. Почему-то разозлился и сказал, что она обязательно сломает замок или оторвет ручку. Он, кажется, даже под подушку его клал на ночь.

Соня пыталась расспросить, в каких он побывал городах, что делал, что видел, как поживает Резников, но папа упор-

но молчал или ворчал на бытовые темы. Она, Соня, опять не помыла посуду, ходит в такой мороз с непокрытой головой, в ванной течет кран, в тахте что-то сломалось, она не раскладывается, и ему узко спать. Полгода не работает принтер. Нельзя смотреть кино, сломался дисковод.

– Сам все починишь, – огрызалась Соня, – ты же инженер, доктор технических наук.

Родители разошлись пять лет назад. Собственно, это был даже не развод, формально они до сих пор числились мужем и женой. Но мама уже пять лет жила в Австралии, ей там дали долгосрочный гранд в каком-то университете. Ни от Сони, ни от папы она не скрывала, что в Сиднее у нее есть близкий друг австралиец Роджер, вдовец, старый, старше папы. Соня имела счастье видеть его однажды. Он прилетал с мамой в Москву, знакомиться с Соней. Кривоногий, маленький, ниже мамы на голову, лысый, но с темными кудрявыми волосами в ноздрях и в ушах, он очень старался произвести на Соню хорошее впечатление, постоянно ей подмигивал. Потом мама объяснила, что от волнения у бедняги Роджера случился нервный тик.

Чтобы взять портфель, надо было слезть с тахты, пройти два шага до стола. Круглые блестящие замочки, конечно, заперты. Но Соня знала, где ключи. Она нашла их в парадном темно-сером папином костюме, когда переодевала его для похорон. Колечко с двумя маленькими ключами было аккуратно приколото к подкладке внутреннего пиджачного кар-

мана английской булавкой.

– Кстати, насчет родной матери, – пробасил Нолик, появившись на пороге в старом фартуке с божьими коровками. – Ты не забыла, что Вера Сергеевна послезавтра прилетает? Она звонила мне, просила тебе напомнить, чтобы ты встретила ее на машине. Очень беспокоится, что ты не берешь трубку. Я на всякий случай записал рейс, время. А как же ты поедешь в Домодедово такая больная?

– Ничего. Выпью побольше таблеток, посажу тебя рядом в качестве дополнительной печки. Когда рейс?

– Вроде ночью, в половине первого.

– Слушай, как там чай? Тепленького хочется. Горло болит ужасно.

– Да, я сейчас. Тебе сюда принести или пойдешь на кухню?

– На кухню. Здесь я пролью.

– Это уж точно, – хмыкнул Нолик, – ты бы на ноги что-нибудь надела. Нельзя при такой температуре босиком. Вечная твоя проблема.

– Что делать? – вздохнула Соня. – Мои тапочки не живут парами. Носки, впрочем, тоже. Найдешь что-нибудь парное – надену.

Нолик натянул на ее босые ноги папины шерстяные носки. Благо, у папы в комнате все лежало на своих местах, аккуратно, по ящикам. По дороге, в прихожей, она чуть не сшибла ведро с розами.

– Да, кстати, кто же принес эту красоту? – спросил Нолик.
– Понятия не имею.
– У тебя мобильник заливается, не слышишь?
– Это почта. Посади меня, прислони к стенке, возьми телефон и почитай, кто и как меня поздравляет. Потом пере-
скажешь своими словами.

Нолик налил чаю ей и себе, уселся на табуретку с телефоном. Читал он долго и увлеченно, присвистывал, качал головой.

«Все бы ничего, – думала Соня, – шестьдесят семь лет это, конечно, не юность, и даже уже не зрелость. Но и не глубокая старость».

На сердце папа не жаловался. Более здорового и крепкого человека, чем он, она не знала. Он не пил спиртного, никогда не курил, не ел жирного и сладкого, каждое утро делал зарядку перед открытым окном. И с нервами у него было все в порядке. Откуда вдруг это – острая сердечная недостаточность? И с кем он был в тот вечер в одном из самых дорогих и снобских московских ресторанов? Он терпеть не мог рестораны, тем более такие пафосные. Почему если его пригласили, то не отвезли домой? Он позвонил в половине одиннадцатого вечера, попросил его забрать, назвал адрес. Когда она подъехала, он сидел на лавочке в сквере, обняв этот свой портфель. Лавка была вся в снегу, он сидел на спинке, похож был на снеговика, даже в бровях сверкали снежинки. Соня спросила: что случилось? Он сказал: ничего. Только

потом, когда сели в машину и проехали мимо ресторана, он сказал, что ужинал там сегодня. Пообещал завтра все рассказать. Дома пожаловался на слабость. Лег спать. А утром уже не дышал и был холодный. Соня вызвала «скорую», они сказали, он умер около часа ночи.

– Кто такой И.З.? – спросил Нолик, оторвавшись наконец от чтения Сониной почты в телефоне.

– А? – встрепенулась Соня. – И.З. – это тот, кто прислал розы. Кстати, где твой подарок?

– Да погоди ты. Послушай.

«Софи, почему не берешь трубку? Мы волнуемся!»; «Твоя свинка с миомой сдохла. Отзовись!»; «Ты просила срочно результат биопсии, все готово, а тебя нет!»; «Софи, твою статью приняли, просят доработать!»; «У тебя скоро день рождения? Круглая дата? Прости, забыл, какого числа. Напиши, я поздравлю»; «Софи, ты заболела? Подойди к телефону!» А, ну это я писал. «Уважаемая Софья Дмитриевна! Поздравляю! И.З.» «Софья Дмитриевна, с вами все в порядке? Как вы себя чувствуете? И.З.»

Нолик глотнул чаю, уставился на Соню.

– Вот. Это пришло только что. Слушай, Репчатая, кто такой И.З.?

Соня хотела обругать его за Репчатую, но закашлялась.

– Это он прислал розы? – Нолик достал сигареты и нервно закурил.

– Вероятно, да.

– Откуда он взялся?

– Понятия не имею. Кто-нибудь из института.

Она говорила сквозь тяжелые приступы кашля. Нолик так завелся, что не замечал этого.

– Ерунда! В твоём нищем НИИ нет никого, кто мог бы раскошиться на такой букет. Может, у тебя зреет серьёзный роман?

– Вполне возможно, – вяло улыбнулась Соня, справившись с кашлем.

– Но ты его знаешь? Ты с ним встречалась, с этим И.З.?

– Нет, Нолик, нет. Сколько раз повторять?

– Но как же? Это жутко дорого, Софи, это не просто так, от доброго дяди.

– Мне не оставили адреса, по которому их можно вернуть. Ты обещал сходить в аптеку, у меня кончились все жаропонижающие, и ещё, мне нужны капли для уха.

– И ты не попытаешься узнать? Выяснить?

– Как?

– Ответь ему, спроси, кто он?

– Да. Обязательно. Только не сейчас.

– Почему?

– Потому что у меня умер папа, и я болею, и мне все по фигу.

Минуто Нолик хмуро молчал, курил, потом вздохнул и произнес уже спокойнее:

– Надо хотя бы поблагодарить. Ты всегда была воспитанным человеком, Софи.

– Хватит. – Соня прижалась затылком к стене и закрыла глаза. – Знаешь, папин аспирант, Резников, был на похоронах.

– Знаю. Он помогал нести гроб. Лысый такой, с бородкой. И что?

– Он сказал, что не приглашал папу в Германию. Он давно живет в Москве.

– Погоди, при чем здесь Резников?

– Папа уверял меня, что летит в Германию к нему. Папа никогда не врал.

– Ну, а может, это что-то – ну... личное? Почему бы нет? У мамы бойфренд в Сиднее, папа завел себе кого-нибудь в Берлине.

– В Гамбурге. Нет, Нолик. Как раз об этом он бы мне рассказал. Слушай, я сейчас совсем никакая. Сходи, пожалуйста, в аптеку. В прихожей моя сумка, там деньги.

Когда Нолик ушел, Соня еще несколько минут просидела на кухне, прислонившись затылком к холодной кафельной стенке и закрыв глаза. Ей хотелось, чтобы опять появился папа. Она знала, что сейчас встанет, пойдет в его комнату, откроет портфель, и бредовая мысль о том, что нельзя этого делать без его разрешения, не давала покоя.

По дороге она присела на корточки, уткнулась лицом в розы. Кто бы ни был этот неизвестный И.З., спасибо ему.

На самом деле ей впервые в жизни подарили такой букет. Если бы не смерть папы и не воспаление среднего уха, она наверняка бы ужасно обрадовалась и была бы польщена.

С трудом доковыляв до папиной комнаты, она взяла портфель в руки, чувствуя себя почти воровкой. Может, Нолик прав и у папы в Гамбурге появилась подружка? Недаром он не хотел, чтобы Соня провожала его в аэропорт.

Наверное, они познакомились здесь, в Москве. Еще за пару месяцев до отлета в Германию он вел себя странно, возвращался поздно. Соне просто в голову не приходило, что ее пожилой домашний папочка может иметь какую-то свою тайную личную жизнь.

Она знала: заседания кафедры и ученые советы никогда не заканчиваются за полночь. Как многие его коллеги-преподаватели, папа подрабатывал, готовил абитуриентов к экзаменам. Мальчики и девочки обычно приезжали сюда, папа занимался с ними в своей комнате. Сам никогда к ним не ездил. Но в последние два месяца кафедра и ученый совет стали заседать до часа ночи, и почему-то вдруг большая часть занятий с абитуриентами переместилась неизвестно куда.

Соня ясно представила себе элегантную пожилую фразу, научную даму, с аккуратной сединой и очаровательной фарфоровой улыбкой.

Между тем портфель был открыт. Ничего, кроме плотного небольшого конверта, Соня там не нашла. В конверте фотографии, черно-белые, очень старые.

Девушка и юноша. Ей лет восемнадцать, ему не больше двадцати пяти. Снимок сделан в помещении, вероятно в фотоателье. Они сидят и смотрят в объектив, но кажется, будто видят только друг друга. Он темноволосый, крупные уши слегка оттопырены, лицо узкое, прямой нос, тонкие губы. У нее толстая светлая коса перекинута через плечо, большие темные глаза. Она выглядит растерянной и ужасно незащитной.

Маленький желто-серый прямоугольник узорчато обрезан по краям. На обратной стороне простым карандашом едва заметно написаны четыре цифры: 1939. Соня не сразу сообразила, что это просто год.

Следующий снимок – та же пара, но уже на улице. Нельзя понять, где именно. Видны только голые ветки деревьев. Юноша и девушка стоят рядом. Она в пальто, в шляпке. Он в шинели и в фуражке, надвинутой до бровей. Он держит в руках продолговатый сверток. Вглядевшись, Соня поняла, что это младенец, завернутый в одеяло. Даты с обратной стороны снимка не было.

На других, еще более старых фотографиях Соня увидела каких-то офицеров, барышень, подростка-гимназиста в кителе и фуражке, мрачного молодого человека в косоворотке. Групповой снимок во дворе военного госпиталя. Много народу. Раненые солдаты, медсестры, врачи. Лица слишком мелкие, не разглядеть. Нестарый, но седой господин в белом халате в том же госпитальном дворе, один, сидит на лавке,

курит. Барышня, мелькавшая на других снимках, но теперь в форме госпитальной сестры. Она же рядом с седым господином. Она же, в блузке с высоким воротом и брошкой у горла, с офицером средних лет. Опять седой, один, за столом в кабинете.

Соня зажмурилась и помотала головой. Потом еще раз взглянула на последний снимок. Встала, включила верхний свет, настольную лампу и бра. Бросилась в свою комнату, вернулась, едва удерживая в руках толстенный том, «История российской медицины. Энциклопедия». Принялась быстро листать страницы, наконец, нашла, что искала. На вкладыше, среди портретов великих врачей, точно такой же снимок, только более крупный и четкий.

Интерьер обрезан, взято лишь лицо. Седой господин. Свешников Михаил Владимирович. Профессор медицинского факультета Московского университета, действительный член Физико-медицинского общества. Генерал царской армии. Военный хирург. Автор выдающихся трудов по медицине и биологии, внес значительный вклад в изучение вопросов кроветворения и регенерации тканей. Родился в Москве в 1863 году. Когда и где умер – неизвестно.

Москва, 2006

Спортивный «Лаллет» цвета ртути, плоский, как летающая тарелка, мчался по Ленинскому проспекту на невозможной для Москвы скорости. Был вечер, мела метель. Из машины звучал Моцарт в современной обработке. За рулем сидел пожилой лысый мужчина. На заднем сиденье, свернувшись калачиком, спала девушка. Ей было не больше двадцати. Даже во сне она продолжала жевать жвачку.

Станным образом исчезли с проспекта патрули ГИБДД. Все прочие машины уступали «Лаллету» дорогу, хотя в Москве водители редко пропускают даже пожарников и «скорую». «Лаллет» летел, не касаясь мостовой новенькими покрывками, стрелка спидометра показывала 120. У площади Гагарина скопилась пробка, и неизвестно, чем мог бы закончиться этот волшебный полет, но, не доезжая площади, «Лаллет» свернул на тихую улицу и сбавил скорость.

– Машка, просыпайся, приехали! – сказал мужчина и сделал музыку громче.

– Я Жанна, – пробормотала девушка, не открывая глаз.

– Извини, солнышко.

– Мгм, – девушка села, помахала накладными ресницами, достала из сумочки пудреницу.

Французский ресторан «Жетэм» был построен лет пять назад в глубине большого двора, на месте двух снесенных

панелек. Трехэтажная вилла в стиле европейского модерна конца XIX века вмещала два обеденных зала, один банкетный, с эстрадой для живого оркестра, три отдельных кабинета, бар с громадными бархатными диванами. Шеф-повар был француз. Швейцары и несколько официантов – чернокожие. От улицы к подъезду вела галерея, увитая гирляндами разноцветных лампочек и застеленная ковровой дорожкой.

«Лаллет» остановился, и тут же, прямо на улице, к нему бросились операторы с камерами, журналисты с микрофонами.

– Надо же, Моцарт! Раньше он ездил под блатной шансон, – шепотом заметила корреспондентка тонкого глянцевого журнала, сорокалетняя крупная дама с двумя детскими косичками и с дюжиной сережек в каждом ухе.

– Кто это приехал? – спросил ее фотограф.

– Кольт. Петр Борисович Кольт. – Журналистка ловко протиснулась между коллегами и протащила за собой за руку нерасторопного фотографа.

Маленький полный мужчина вылез из машины. Ветхие джинсы сваливались с него. Серый пиджак в елочку был измят, как будто его пожевала корова. Под пиджаком футболка с надписью по-английски: «Бог любит всех, даже меня». Корреспондентка с косичками толкнула локтем своего нерасторопного фотографа и прошептала:

– Ноги! Ноги сними!

На ногах у Кольта были грязные оранжевые кеды.

Кольт зевнул, потянулся, сморщился от фотовспышек.

– Петр Борисович, здравствуйте! Журнал «Джокер». Что вы думаете о сегодняшнем мероприятии?

– Господин Кольт! В чем секрет успешного бизнеса?

– Петр, скажите, правда ли, что вы купили футбольную команду Берега Слоновой Кости за десять миллионов евро?

Сыпались вопросы, стреляли вспышки, микрофоны отталкивали друг друга. Кольт почесал толстый мягкий живот, оглядел журналистов с доброй улыбкой и произнес басом:

– Все суета сует.

Затем, повернувшись спиной к публике, открыл заднюю дверцу своего «Лаллета» и вытянул оттуда за руку сонную жующую девушку.

Светлые прямые волосы падали на лицо, она сдувала их, выпятив нижнюю губу. Когда она распрямилась, стало видно, что круглая голова Кольта едва доходит ей до плеча. На девушке была короткая дутая куртка цвета хаки. Желтые шелковые брюки, скроенные таким образом, что спереди открывалась солидная часть живота, а сзади виднелась впадина между ягодицами.

Снимать девушку журналисты не стали, отхлынули от Кольта. Пара, трогательно взявшись за руки, проследовала к подъезду. Журналистка с косичками успела придумать первые несколько фраз заметки о том, что дистрофическая худоба наконец вышла из моды и теперь актуальны пышные

формы. Стиль «антигламур» все настойчивей завоевывает позиции. Старые, мятые, нарочито дешевые и некрасивые вещи, как будто купленные на барахолке, сегодня считаются особым шиком в высоком тусе.

Корреспондентка подумала, стоит ли в статье объяснять значение слова «тус», и решила: не стоит. Читательницы модного глянца – люди образованные. Они обязаны знать, что «тус» сегодня говорят вместо надоевшего слова «тусовка».

Охранник сел в «Лаллет» и отогнал его на ресторанную стоянку, чтобы освободить место для черного квадратного джипа, который привез популярного телеведущего с женой.

В просторном ресторанном фойе были накрыты длинные столы для фуршета. Горы фруктов, французские сыры, не меньше пятидесяти сортов, обложенные гроздьями винограда, овальные фарфоровые блюда с ломтиками розовой и белой рыбы, холодное мясо животных, от банальной свинины до экзотической медвежатины. Жареная и заливная птица, от курицы до страуса. Шампанское в ледяных ведерках, красная икра в высоких серебряных вазах. Вначале была и черная, но ее сразу съели.

Согласно дресс-коду, обозначенному в пригласительных билетах, мужчины были в строгих костюмах, в сюртуках и смокингах, дамы – в вечерних платьях. Публика весьма солидная: банкиры, политики, владельцы журналов, газет, телеканалов. Пока мало кто отважился явиться в остро модных

барахольных тряпках на столь серьезное мероприятие.

Минут через тридцать должно было начаться торжественное действо – вручение премий за успехи в медиа-бизнесе.

Премии сами по себе ничего не стоили. Каждый награждаемый получал бронзовую статуэтку, то ли птичку, то ли рыбку, букет цветов и порцию аплодисментов. Но факт присутствия на церемонии, приглашенный билет в конверте из розовой шелковистой бумаги, черный, с золотыми буквами, стоил дорого. Посторонние, случайные люди сюда проникнуть не могли никак.

Гости теснились у столов, с тарелками и бокалами пробирались сквозь суету, стараясь никого не задеть, ничего не уронить и не пролить, что было непросто, ибо толпа густела с каждой минутой.

Появление Кольта вызвало легкий ажиотаж, но не потому, что Петр Борисович был владельцем ресторана и оплачивал мероприятие, и ни в коем случае не из-за его обвислых джинсов и мятого пиджака, и даже не из-за большой оголенной попки девушки Жанны. Ажиотаж случился просто потому, что Петр Борисович слишком резко вклинился в толпу, кого-то задел, кому-то наступил на ногу. Извиниться он не мог, так как разговаривал по телефону. Девушка Жанна тоже не извинялась, так как вообще никогда этого не делала.

– Где ты? Я тебя не вижу. Здесь народу тьма! – громко бил Кольт в трубку. – Ладно, стой, где стоишь, и не отключайся!

Человек, к которому стремился Петр Борисович, не стоял, а сидел. Он приехал давно, успел занять удобное место в углу, у рояля. Он курил, раскинувшись на диване, слушал отличные джазовые импровизации ресторанного пианиста и с любопытством разглядывал публику.

На вид ему было не больше сорока пяти. С первого взгляда он казался некрасивым, даже неприятным. Крупное смуглое лицо с широкими скулами и вздернутым носом, жидкие тусклые волосы неопределенного цвета, тяжелый подбородок, выпуклые бледные губы. Но у него были яркие голубые глаза, высокий чистый лоб и чудесная улыбка. Этой своей улыбкой он одарил девушку Жанну, которая, впрочем, никак не отреагировала, а продолжала жевать жвачку.

– Иди там, покушай, потусуйся, – сказал Жанне Петр Борисович и уселся на диван.

– Ну что, как? – спросил он нетерпеливым шепотом, когда девушка удалилась.

– Пока никак.

– Что значит – никак? Я же сказал – любые деньги. Любые! Ты объяснил ему?

– Я объяснил. Он согласился.

– Ну?! – Желтые маленькие глаза Кольта заблестели, он шлепнул собеседника по коленке. – Сколько в итоге?

– Уже не важно.

– Что значит – не важно?

– Он умер.

– Кто?! – крикнул Кольт так громко, что на них стали обращиваться.

– Ш-ш-ш... – Смуглый вытянул губы и покачал головой. – Нет, с ним все в порядке, он никуда не денется, не волнуйтесь. Умер Лукьянов.

– А-а, – Кольт облегченно вздохнул, но тут же нахмурился, – погоди, а чего это вдруг? Он вроде не такой старый, и ты говорил, он здоровый мужик. Ему шестьдесят пять, как мне.

– Шестьдесят семь. Острая сердечная недостаточность.

– И чего дальше?

– Дальше будем работать.

– С кем? – тревожно спросил Кольт.

– С ней, – смуглый мягко улыбнулся.

Они так увлеклись беседой, что не заметили быстрого движения толпы к банкетному залу. Через опустевшее фойе к ним прибежал высокий рекламный красавец брюнет в белом смокинге и, смущаясь, переминаясь с ноги на ногу, сказал:

– Петр Борисович, Иван Анатольевич, извините, пожалуйста, там все ждут, вас просят, пора начинать.

– Да, идем. Уже идем, – ответил Кольт.

Прежде чем подняться на эстраду и оставить Ивана Анатольевича в первом ряду, Кольт стиснул его руку и прошептал на ухо:

– А вдруг она тоже возьмет и умрет? Сколько ей лет?

– Всего лишь тридцать, как раз сегодня исполнилось.

На лице Ивана Анатольевича опять засияла мягкая, ласковая, совершенно неотразимая улыбка.

Глава вторая

Москва, 1916

25 января были именины Тани. Ей исполнилось восемнадцать лет.

Михаил Владимирович жил замкнуто, приемов терпеть не мог, сам в гости почти не ходил и к себе звал редко. Но по Таниной просьбе этот день стал исключением.

– Хочу настоящий праздник, – сказала накануне Таня, – чтобы много народу, музыка, танцы, и никаких разговоров о войне.

– Зачем тебе это? – удивился Михаил Владимирович. – Полный дом чужих людей, сутолока, шум. Вот увидишь, уже через час у тебя разболится голова и ты захочешь всех их послать к черту.

– Папа людей не любит, – ехидно заметил Володя, старший сын Свешникова, – его издевательства над лягушками, крысами и дождевыми червями – это сублимация, по доктору Фрейду.

– Спасибо на добром слове. – Михаил Владимирович слегка склонил стриженную бобриком крупную седую голову. – Венский шарлатан тебе аплодирует.

– Зигмунд Фрейд – великий человек. Двадцатый век ста-

нет веком психоанализа, а вовсе не клеточной теории Свешникова.

Михаил Владимирович хмыкнул, цокнул ложкой по яйцу и проворчал:

– Безусловно, у психоанализа великое будущее. Тысячи жуликов еще сделают на этой пошлости недурные деньги.

– И тысячи романтических неудачников будут скрежетать зубами от зависти, – зло улыбнулся Володя и принялся катать шарик из хлебного мякиша.

– Лучше быть романтическим неудачником, чем жуликом, а уж тем более – модным мифотворцем. Эти твои умные друзья, Ницше, Фрейд, Ломброзо, толкуют человека с такой брезгливостью и презрением, будто сами принадлежат к иному виду.

– Ну, началось! – двенадцатилетний Андрюша закатил глаза, скривил губы, выражая крайнюю степень скуки и усталости.

– Был бы счастлив иметь их в друзьях! – Володя кинул в рот хлебный шарик. – Любой злодей и циник в сто раз интересней сентиментального зануды.

Михаил Владимирович хотел что-то возразить, но не стал. Таня поцеловала отца в щеку, шепнула:

– Папочка, не поддавайся на провокации, – и вышла из гостиной.

Оставшиеся три дня до именин каждый продолжал жить сам по себе. Володя исчезал рано утром и возвращался ино-

гда тоже утром. Ему было двадцать три. Он учился на философском факультете, писал стихи, посещал кружки и общества, был влюблен в литературную даму старше него на десять лет, разведенную, известную под именем Рената.

Андрюша и Таня ходили в свои гимназии. Таня, как обещала, успела сводить брата в художественный театр на «Синюю птицу», Михаил Владимирович дежурил в военном лазарете Святого Пантелеимона на Пречистенке, читал лекции в университете и на женских курсах, вечерами закрывался в лаборатории, до глубокой ночи работал и никого к себе не пускал. Когда Таня спрашивала, как поживает крыс Григорий Третий, профессор отвечал: «Отлично». Больше она не могла вытянуть из него ни слова.

Утром 25-го за завтраком Михаил Владимирович произнес короткую речь:

– Ты теперь совсем взрослая, Танечка. Это грустно. Тем более грустно, что мама не дожила до этого дня. Маленькой ты уже никогда не будешь. Сколько всего ждет тебя яркого, захватывающего, какой огромный и счастливый кусок жизни впереди. И все в этом новом, удивительном и странном двадцатом веке. Я хочу, чтобы ты стала врачом, не пряталась от практической медицины в отвлеченную науку, как я, а помогала людям, облегчала страдания, спасала, утешала. Но не дай профессии съесть все остальное. Не повторяй моих ошибок. Юность, молодость, любовь...

На последнем слове он закашлялся, покраснел. Андрюша

хлопнул его по спине. Таня вдруг засмеялась, ни с того ни с сего.

Весь этот день, двадцать пятое января тысяча девятьсот шестнадцатого года, она смеялась как сумасшедшая. Отец вдел ей в уши маленькие бриллиантовые сережки, именно те, на которые она давно заглядывалась в витрине ювелирной лавки Володарского на Кузнецком. Старший брат Володя преподнес томик стихов Северянина и вместо поздравления зло паясничал, как всегда. Андрюша нарисовал акварельный натюрморт. Осенний лес, пруд, подернутый ряской, усыпанный желтыми листьями.

– У барышни, сестрицы вашей, самый весенний возраст, а вы все увядание рисуете, – заметил доктор Агапкин Федор Федорович, папин ассистент.

Таню он раздражал. Это был пошло красивый мужчина с прилизанными каштановыми волосами, девичьими ресницами и толстыми томными веками. На именины она его не приглашала, он сам явился прямо с утра, на завтрак, и преподнес имениннице набор для вышивания. Рукоделием Таня никогда в жизни не занималась и вручила подарок Агапкина горничной Марине.

Более всех растрогала и насмешила Таню нянька Авдотья. Старая, из дедовских крепостных, почти глухая, сморщенная, она жила в доме на правах родственницы. На день ангела она, как в прошлом году, как и в позапрошлом, преподнесла Тане все ту же куклу, Луизу Генриховну.

Кукла эта многие годы была предметом борьбы и интриг с нянькой. Она сидела на комодe в нянькиной комнате, без всякой пользы. Зеленое бархатное платье с кружевами, белые чулки, замшевые ботинки с изумрудными пуговками, шляпка с вуалеткой. Когда Таня была маленькой, нянька только изредка, по праздникам, позволяла ей прикоснуться к розовой фарфоровой щеке, потрогать тугие русые локоны Луизы Генриховны.

Лет тридцать назад няня выиграла куклу на детском рождественском утреннике в Малом театре для тети Наташи, папиной младшей сестры. Наточка, нянина любимица, была девочка аккуратная, тихая, в отличие от Тани. На Луизу Генриховну она только смотрела.

Таня поцеловала няньку, усадила куклу на каминную полку и забыла о ней, вероятно, до следующего года.

Вечером к дому на Ямской подъезжали извозчики. Нарядные дамы и господа с цветами, с подарочными коробками ныряли в подъезд, поднимались в зеркальном лифте на четвертый этаж.

Университетские профессора с женами, врачи из госпиталя, адвокат Брянцев, сдобный золотисто-розовый блондин, похожий на постаревшего херувима с полотен Рубенса. Аптекарь Кадочников, в своих вечных валенках, которые носил круглый год из-за болезни суставов, но в штанах с лампасами, в сюртуке и в крахмальном белье по случаю именин. Танины подруги-гимназистки, дама-драматург

Любовь Жарская, старая приятельница Михаила Владимировича, высокая, страшно худая, со взбитой рыжей челкой до бровей и вечной папироской в уголке пунцового тонкого рта. Несколько сумрачных надменных студентов-философов, приятелей Володи, наконец, его любовь, загадочная Рената, с голубоватым от пудры лицом и глазами в траурных овальных рамках.

Вся эта разноперая публика крутилась в гостиной, смеялась, язвила, сплетничала, пила лимонад и дорогой французский портвейн, наполняла пепельницы окурками и мандариновыми корками.

– В Доме поэтов литературный вечер, будут Бальмонт, Блок. Пойдешь? – спросила Таню шепотом ее одноклассница Зоя Велс, коренастая застенчивая барышня. Лицо ее было сплошь усыпано веснушками. Огромные голубые глаза выглядели как куски чистого неба среди темной унылой ряби облаков.

– Зоенька, вы нам стихи почитаете сегодня? – спросил интимным басом студент Потапов, Володин приятель, оказавшийся рядом.

Таня уловила издевательские нотки, а Зоя – нет. Зоя в Потапова была влюблена, впрочем, в Володю тоже. Она влюблялась во всех молодых людей одновременно и пребывала в постоянном горячечном поиске мужского внимания. Ее отец, очень богатый скотопромышленник, владелец скотобоеен, мыльных и колбасных фабрик, собирался выдать ее за-

муж за дельного человека, она же хотела роковой любви и писала стихи с кокаином, бензином, Арлекином и револьвером у бледного девичьего виска.

– Да, если вы настаиваете, – ответила Зоя Потапову и покраснела так, что веснушки почти исчезли.

– О, я настаиваю! – томно простонал Потапов.

– Мы все настаиваем! – поддержал игру Володя. – Зачем нам Бальмонт и Блок, когда есть вы, Зоенька?

– Богиня! – Потапов поцеловал ей ручку.

– Вот что! – развеселился Володя. – Мы устроим мелодекламацию. Таня поиграет, а вы, Зоенька, будете читать стихи под фортепиано, нараспев.

– Прекрати, это подло! – шепнула Таня брату и больно ущипнула его за ухо.

Рената, одиноко кутившая в кресле в другом конце гостиной, вдруг разразилась русалочьим смехом, таким громким, что все замолчали, уставились на нее. Она тоже замолчала, так и не объяснив, что ее рассмешило.

– Ну, довольна? Весело тебе? – спросил профессор, мимходом чмокнув дочь в щеку.

– Разумеется! – прошептала Таня.

За ужином заговорили о Распутине. Дама-драматург просила адвоката Брянцева рассказать о безносой крестьянке, покушавшейся пару лет назад на жизнь царского колдуна. В сибирском селе Покровском, на родине Григория, крестьянка Хиония Гусева ударила его кинжалом в живот, когда он

выходил из церкви после утренней службы. Газеты сходили с ума. Журналисты изощрялись в сочинении самых невероятных версий. Царский колдун выжил. Гусеву признали невменяемой и поместили в лечебницу для душевнобольных в Томске.

– Если бы дошло до суда, именно вы, Роман Игнатьевич, стали бы ее защитником, – произнесла дама-драматург, аккуратно отрезая кусочек от индюшачьего филе.

– Ни в коем случае. – Адвокат нахмурился и покачал кудрявой белокурой головой. – Когда еще вопрос о судебном процессе оставался открытым, я категорически отказался.

– Почему? – спросил Володя.

– Предпочитаю не участвовать в фарсах. Они приносят быструю славу, иногда неплохие деньги, но дурно влияют на репутацию. Вот если бы эта Гусева ударила в сердце и убила бы его, я бы с удовольствием ее защищал и сумел бы доказать, что она своим мужественным поступком спасла Россию.

– А что у нее было с носом? – выпалила Зоя Велс и опять густо покраснела.

– Сифилис, вероятно, – пожал плечами адвокат, – хотя она уверяла, что никогда не страдала этой постыдной болезнью, и вообще девица.

– Но она сумасшедшая или все-таки нет? – спросил доктор Агапкин.

– Я бы не назвал ее душевно здоровым человеком, – от-

ветил адвокат.

– А Распутин? Вы видели его близко. Он кто, по-вашему? Безумец или хладнокровный мошенник? – не унимался Агапкин.

– Я видел его только однажды, случайно в Яре. Он там устроил непристойный пьяный шабаш с цыганами. – Адвокату явно наскучила эта тема, ему хотелось наконец заняться заливной севрюгой.

– Почему все-таки этот грязный сибирский мужик занимает такое огромное место и в политике, и в головах, и в душах? – задумчиво произнесла Жарская.

– А вы напишите о нем пьесу, – предложил Володя, – между прочим, Таня назвала в его честь одну из папиных лабораторных крыс.

– Ту самую, которую удалось омолодить? – спросила Рената.

Если не считать внезапного взрыва хохота, она впервые за вечер подала голос. Голос оказался высоким и резким.

Профессор повернулся к ней всем корпусом, держа в руке вилку с наколотым куском лосося, потом посмотрел на Володю. Агапкин прижал к губам салфетку и принялся громко кашлять.

– Господа, давайте выпьем за здоровье именинницы, – предложил аптекарь Кадочников.

– Ваша горничная Клавдия – двоюродная сестра моей портнихи, – спокойно пояснила Рената, после того как все

чокнулись и выпили за Танино здоровье.

Стало тихо. Все смотрели на профессора, кто с сочувствием, кто с любопытством. Таня, сидевшая рядом с отцом, сильно сжала под столом его коленку.

– Умоляю, Миша, не отрицай, не говори, что горничная все придумала или напутала. Я знаю, это правда, потому что ты гений! – быстро, на одном дыхании произнесла Жарская. – Как, как тебе это удалось?

Михаил Владимирович отправил в рот кусок лосося, прожевал, промокнул губы салфеткой и заговорил:

– Пару месяцев назад наш сосед сверху господин Бубликов проводил свой очередной спиритический сеанс. На этот раз гостем его должен был стать дух графа Сен-Жермена. Я, разумеется, не знал этого, я сидел в лаборатории. Хлопнула форточка, закрипели половицы. Он был удивительно элегантен и мил, несмотря на свою прозрачность. Он любезно представился. Я сказал ему, что он, вероятно, ошибся адресом и ему надо этажом выше. Он ответил, что у Бубликова скучно, заинтересовался моим микроскопом, принялся расспрашивать о новшествах в медицине. Мы проговорили до рассвета. Исчезая, он оставил мне на память небольшой флакон и сказал, что это его знаменитый эликсир. Я имел смелость возразить: почему же тогда я беседую с прозрачным призраком, а не с живым человеком? Он ответил, что давно научился переходить из одного состояния в другое и обратно посредством трансмутации, примерно так же, как вода ста-

новится под воздействием температуры льдом или паром. В газообразном состоянии перемещаться в пространстве значительно удобней. Я был так потрясен и измотан бессонной ночью, что незаметно уснул прямо за столом, в лаборатории. Проспал часа два, проснувшись, увидел старинный флакон, все вспомнил, но не поверил самому себе, решил, что это был сон. Содержимое флакона я вылил в лоток, из которого пьет крыса. Ну, а дальше произошло то, о чем поведала наша горничная портнихе этой очаровательной дамы.

Опять повисла пауза. Потапов беззвучно захлопал в ладоши. Старый аптекарь чихнул и извинился.

– Все? – громким шепотом спросила Зоя Велс. – Вы вылили в крысиный лоток из этого флакона все, до капельки?

Москва, 2006

Соня не слышала, как вернулся Нолик. Он догадался прихватить ключи и вошел очень тихо. Она вздрогнула и чуть не заорала от страха, когда он появился в комнате. Фотографии были разложены на столе. Рядом стоял открытый портфель. Нолик подошел и тут же ткнул пальцем в фотографию молодой пары, датированную тридцать девятым годом.

– Кого она мне напоминает? Не знаешь?

– Кто?

– Девочка. Вот эта, с косой.

Нолик прищурился, поднес снимок к глазам.

– Ты лекарства купил? – спросила Соня.

– Да, конечно. Вот. – Он положил на стол аптечный пакет. – Кстати, там градусник. Будь добра, измерь температуру. Господи, где я мог ее видеть?

– Нигде. Это тридцать девятый год. – Соня сунула градусник под мышку.

– А... – Нолик звонко хлопнул себя по лбу. – Софи, я болван! Подожди, я сейчас!

Он вылетел в прихожую, тут же вернулся и вручил Соне маленький сверток. Там были духи. Соня распечатала коробочку, открыла флакон, понюхала, улыбнулась.

– погоди, еще не все! – Нолик помахал у нее перед носом бумажным прямоугольником. – Вот это посильней лю-

бых духов и даже роз от неизвестного И.З.!

– Что это?

– А ты прочитай!

Соня взяла у него визитку.

– «Кулик Валерий Павлович». Кто это?

– Вот балда! Твой бывший преподаватель! Профессор с твоего биофака! Ну? Вспомнила? Слушай, Софи, ты в состоянии воспринимать важную позитивную информацию? Это же класс! Это супер! Позавчера он выступал у нас на канале. Мы столкнулись в курилке. Он смотрит на меня, я на него. Он спрашивает: «Где мы с вами встречались?» И я, главное дело, хлопаю глазами, тоже вспомнить не могу. Он первый вспомнил. На твоём выпускном вечере в универе, ты нас познакомила. Так вот, он стал сразу расспрашивать о тебе, как живешь, где работаешь. Сказал, что хотел тебя разыскать, ты ему очень нужна.

– Разыскать несложно, – тихо заметила Соня, не открывая глаз, – в учебной части остались все координаты, адрес, телефон.

– У него все есть, но ты почти неделю не берешь трубку, и он подумал, вдруг ты переехала или телефон изменился. Но тут как раз встретил меня. Это судьба, Софи! Ты прочитай, что написано на визитке.

– Biology tomorrow, – прочитала вслух Соня, – Международная неправительственная ассоциация «Фонд научных инициатив». Институт экспериментальных биотехнологий.

Исполнительный директор Кулик Валерий Павлович.

– Позвони ему срочно, прямо сегодня! Видишь, он написал номер мобильного ручкой. Он хочет предложить тебе работу. Софи, это совсем другие деньги, другие перспективы. Я жутко рад за тебя!

– Полгода назад я отправляла туда свое резюме, – сказала Соня, – они мне отказали.

Лицо Нолика слегка вытянулось.

– Ну... Все течет, все изменяется, – произнес он глубоко-мысленно, – во всяком случае, сейчас тебя там ждут.

Соня вытащила градусник. Тридцать девять и пять.

– Хочешь, я останусь ночевать? – спросил Нолик. – У меня завтра утром озвучка, это часа на три, наверное. Я съезжу и сразу вернусь. Хочешь? Я могу остаться до приезда твоей мамы и встретить ее на такси. Только у меня денег нет. Заплатят в конце месяца.

– Я сама ее встречу, я очухаюсь к завтрашнему вечеру. А ты оставайся. Иначе зачем было тратиться на градусник?

– То есть?

– Ну он ведь нужен, чтобы кто-нибудь ахнул, увидев, какая у человека высокая температура. А если человек болеет в одиночестве, то ахать некому. Возьми водку в морозилке, разбавь водой, смочи полотенце и положи мне на лоб. Только не пей ее, ладно? Будешь пить, выгоню.

У Сони заплетался язык. Нолик довел ее до тахты, ушел на кухню. Соня подумала, что температура подскочила у нее

не от болезни, а от волнения.

«Биология завтра» – голубая мечта любого ученого, особенно молодого специалиста, но пробиться туда страшно трудно, даже если владеешь английским и немецким, имеешь кандидатскую степень и знаешь совершенно точно, что биология твое призвание, с детства на всю жизнь.

В первом классе, собирая осенний гербарий, Соня заметила, что только живые деревья сбрасывают листья, а мертвые – нет. На мертвых ветках листья могут висеть всю зиму, бурые, скорченные.

– Это нелогично, – сказала она папе, – осенние листья на живых деревьях, красные, желтые, должны держаться, они такие красивые, особенно под снегом.

– Закон природы, – равнодушно ответил папа.

Ответ Соню не устроил. Она приставала ко всем взрослым, которых считала более или менее разумными, и только один сумел кое-что объяснить.

– Поздравляю, – сказал папин друг Бим, Борис Иванович Мельник, биолог, – ты, Сонечка, мыслишь как Гален. Во втором веке нашей эры этот великий римский философ и врач тоже заинтересовался осенним листопадом и сделал вывод, что живые деревья сбрасывают листья нарочно, чтобы не сломались ветки под тяжестью снега. То есть в самом дереве заложена такая программа.

– Убивать свои собственные листья?

– Ну да. Именно. Есть даже специальный биологический

термин: апоптоз, «листопад» по-гречески. Так поступают почти все живые существа. Головастик избавляется от хвоста и становится лягушонком. Маленький человечек, пока сидит в животе у мамы, сначала имеет множество дополнительных запчастей, например жабры, хвост, потом все ненужное отмирает.

– А он может раздумать? – спросила Соня.

– Кто?

– Ну человечек. Вдруг он захочет оставить себе жабры или хвост, на всякий случай? Если он, допустим, потом решит заниматься подводным плаванием, ему все это очень пригодится.

– Ты имеешь в виду, есть ли у него выбор? Нет. Выбора нет.

– Почему?

Следующие десять лет Соня изводила Бима вопросами при всяком удобном и неудобном случае. Сразу после десятиго класса она поступила в университет на биофак. В аспирантуре Бим, профессор Мельник, стал ее научным руководителем, взял к себе в лабораторию.

Соня занималась апоптозом, запрограммированной смертью, вернее, самоубийством живой клетки. Тема эта стала страшно модной в последние годы, поскольку была связана с проблемами старения и продления жизни.

Миллиарды клеток в любом живом организме ежеминутно умирают и рождаются, но с каждой минутой соотноше-

ние это едва заметно сдвигается в сторону смерти. Из всего живого на планете бессмертны только амебы, бактерии и раковые клетки. Они могут жить вечно. Они жрут и делятся, делятся и жрут.

«Значит, у них есть, чему поучиться», — сказал в одной из своих лекций, еще в 1909 году, профессор Михаил Владимирович Свешников.

В 2002-м трое ученых, два англичанина и американец, получили Нобелевскую премию за открытие генетически запрограммированной клеточной гибели. Они наблюдали под микроскопом, как рождается, живет и умирает глист нематода, существо длиной в миллиметр, и выделили гены, в которых запрограммирован суицид клетки. А потом доказали, что точно такие же гены есть в геноме человека и выполняют они те же функции. Открытие теоретически давало потрясающие перспективы в лечении СПИДа, рака, инфаркта миокарда. Многие биологи заговорили о возможности изменять геном человека, задавать программу добровольного суицида раковым клеткам, и наоборот, отключать программу, когда кончают с собой клетки тканей сердца при инфаркте. На исследования выделялись огромные деньги, находились добровольцы, готовые все испытать на себе, открывались клиники, где малоизученные методы применялись в медицинской практике, Интернет, газеты, журналы пестрели рекламами универсальных генетических методов лечения всех человеческих недугов, включая старость и смерть.

На этом свихнулся Борис Иванович Мельник.

Бим в течение многих лет изучал ту же крошку нематоду, с той же целью, что два англичанина и американец, и самое обидное, пришел к тем же выводам, что и они, на год раньше. Но Бим работал в маленьком, нищем, Богом забытом НИИ гистологии, не имел ни оборудования, ни денег, получал копейки, бился головой о вечную стену тупости, трусости и жадности российских чиновников от науки. Чужая Нобелевская премия 2002 года его доконала. Он бросился давать интервью, кричать на всех углах, что работает над новыми способами продления жизни. Ему, доктору биологических наук, несложно было придумать вполне стройную теорию о том, что современная биология в обнимку с генетикой способна отменить старость и смерть. Биму верили, как верили языческим шаманам, средневековым колдунам, алхимикам, авантюристам всех времен и народов, просто потому, что очень хотели верить. Но это бы еще ничего. Настал момент, когда Бим сам поверил той пафосной ахинее, которой пичкал журналистов и профанов на интернетских форумах.

Бим стал знаменитостью. Он привык, что Соня, верный его ассистент, всегда с ним и за него, он приглашал ее с собой на телеэфиры. Она придумывала уважительные причины, чтобы не пойти. Ей было стыдно и страшно сказать ему правду. Она не собиралась уходить из лаборатории, но ее научный руководитель сошел с ума. Она решила уйти, но было некуда. Проблема ее заключалась в том, что она хотела зани-

маться наукой, а не бессовестной коммерцией под личиной науки. Ей казалось, что сейчас такую возможность может предоставить только одна структура – «Биология завтра». И вот, как будто по мановению волшебной палочки, появился этот Кулик.

«Надо принять жаропонижающее и просто поспать, – думала Соня. – Слишком много вопросов на одну больную горячую голову, у которой еще и в ухе стреляет. У меня не голова, а головешка. Кулик пройдоха и жулик, никакой не ученый, впрочем, для административной работы – в самый раз. Если он там стал исполнительным директором, значит, ворочает деньгами, фондами, грантами. Лично его вряд ли могли заинтересовать мои исследования, ему это по фигу. Но кто-то ведь там разбирается в научных вопросах, и Кулику поручили выйти на меня. Почему вдруг? И каким образом среди этих фотографий в папином портфеле оказался великий Свешников? Может быть, одно с другим как-то связано? Нет. Ерунда. Это температура, это бред. Господи, как знобит. Где же Нолик?»

Она чуть не свалилась с тахты, когда Нолик шлепнул ей на лицо мокрое, пахнущее водкой полотенце.

– Горе, ты бы хоть отжал его! – простонала Соня.

Москва, 1916

Гости разъехались. Михаил Владимирович и Агапкин удалились в кабинет профессора.

– Не обижайтесь, Федор, – сказал Свешников, усаживаясь в кресло и отстригая кончик сигары толстыми кривыми ножницами, – я знаю, как легко вы загораетесь, как остро переживаете разочарования. Я не хотел волновать вас по пустякам.

– Ничего себе пустяки! – Агапкин прищурился и оскалил крупные белые зубы. – Вы хотя бы отдаете себе отчет в том, что произошло? Впервые за всю историю мировой медицины, со времен Гиппократы, опыт омоложения живого организма закончился удачей!

Профессор весело рассмеялся:

– О, Господи, Федор, и вы туда же! Я понимаю, когда об этом говорят горничные, романтические барышни и нервные дамы, но вы все-таки врач, образованный человек.

Лицо Агапкина оставалось серьезным. Он достал папиросу из своего серебряного портсигара.

– Михаил Владимирович, вы в последние две недели не пускали меня в лабораторию, вы все делали один, – произнес он хриплым шепотом, – разрешите мне хотя бы взглянуть на него.

– На кого? – все еще продолжая посмеиваться, профессор

зажег спичку и дал Агапкину прикурить.

– На Гришку Третьего, конечно.

– Пожалуйста, идите и смотрите, сколько душе угодно. Только не вздумайте открывать клетку. А в лабораторию не я вас не пускал. Вы же сами просили дать вам короткий отпуск до Таниных именин, у вас, насколько я помню, возникли некие таинственные личные обстоятельства.

– Ну да, да, простите. Но я же не знал, что вы начали серию новых опытов! Если бы я только мог предположить, я бы все эти личные обстоятельства послал к черту! – Агапкин жадно затянулся папиросой и тут же загасил ее.

– Федор, вам не совестно? – Профессор покачал головой. – Если я правильно понял, речь шла о вашей невесте. Как же можно – к черту?

– А, все разладилось. – Агапкин поморщился и махнул рукой. – Не будем об этом. Так вы покажете мне крысу?

– И покажу, и расскажу, не волнуйтесь. Но только давайте сразу условимся, что об омоложении мы говорить не станем. То, что произошло с Григорием Третьим, – всего лишь случайное совпадение, ну, в крайнем случае, неожиданной побочный эффект. Я не ставил перед собой никаких глобальных задач, я слишком устаю сейчас в лазарете, у меня совсем не остается сил и времени на занятия серьезной наукой. В лаборатории я только отдыхаю, развлекаюсь, тешу свое любопытство. Я вовсе не собирался омолаживать крысу. Кажется, я говорил вам, что меня многие годы занимает загадка

эпифиза. Вот уже двадцатый век на дворе, а до сих пор никто точно не знает, зачем нужна эта маленькая штучка, шишко-видная железа.

– Современная наука считает эпифиз бессмысленным, рудиментарным органом, – быстро произнес Агапкин.

– Глупости. В организме нет ничего бессмысленного и лишнего.

Эпифиз – геометрический центр мозга, но частью мозга не является. Его изображение есть на египетских папирусах. Древние индусы считали, что это третий глаз, орган ясновидения. Рене Декарт полагал, что именно в эпифизе обитает бессмертная душа. У некоторых позвоночных эта железка имеет форму и строение глаза, и у всех, вплоть до человека, она чувствительна к свету. Я вскрыл мозг старой крысы, не стал ничего удалять и пересаживать, менять старую железку на молодую. Я это проделывал много раз, и все безрезультатно. Животные дохли. Я просто ввел свежий экстракт эпифиза молодой крысы.

Михаил Владимирович говорил спокойно и задумчиво, как будто с самим собой.

– И все? – Глаза Агапкина выкатились из орбит, как при базедовой болезни.

– Все. Потом я наложил швы, как положено при завершении подобных операций.

– Вам удалось все это проделать *in vivo*? – спросил Агапкин, глухо кашлянув.

– Да, впервые за мою многолетнюю практику крыса не погибла, хотя, конечно, должна была погибнуть. Знаете, в тот вечер все не ладилось. Дважды выключали электричество, разбилась склянка с эфиром, у меня заслезились глаза, запотели очки.

Из гостиной слышались приглушенные голоса. Играла музыка.

– Там, кажется, продолжают веселиться, – пробормотал профессор и взглянул на часы, – Андрюше пора бы в постель.

В гостиной правда было весело. Володя опять завел граммофон и предложил играть в жмурки. Таня смеялась, когда Андрюша завязывал ей глаза черным шелковым шарфом под шелестящий граммофонный голос Плевицкой. Андрюша вдруг прошептал на ухо:

– Знаешь, почему папа поперхнулся, когда за завтраком сказал слово «любовь»?

– Потому что ростбиф не прожевал, перед тем как произносить речь, – сквозь смех ответила Таня.

– При чем здесь ростбиф? Вчера вечером, когда мы с тобой были в театре, полковник Данилов заходил к папе и говорил с ним о тебе.

– Данилов? – Таня стала икать от смеха. – Этот старенький, седенький обо мне? Какая чушь!

– Он имел наглость просить твоей руки. Я случайно услы-

шал, как Марина сплетничала об этом с няней.

– Подслушивал? Ты подслушивал болтовню прислуги? – зло прошипела Таня.

– Ну вот еще! – Андрюша мстительно туго стянул узел, прихватил и дернул прядь волос. – Нянька глухая, они обе орали на всю квартиру.

– Эй, больно! – взвизгнула Таня.

– Если его не убьют на войне, я вызову его на дуэль! Стреляться станем с десяти шагов. Он стреляет лучше, прикончит меня мгновенно, и ты будешь виновата, – заявил Андрюша и раскрутил Таню за плечи, как будто она была игрушечным волчком.

– Дурак! – Таня чуть не упала, неестественным, слишком детским движением оттолкнула брата, на ощупь вытянула прядь из узла, при этом еще безнадежней запутав волосы, и застыла посреди гостиной в полнейшей, бархатной темноте, которая стала быстро наполняться запахами и звуками. Они казались ярче и значительней, чем в обычной, зрячей, жизни.

«Он решился. Он сошел с ума. Его могут убить на войне. Жена! Какая, к черту, из меня жена?» – думала Таня, слепопутая и нюхая теплый воздух гостиной.

Ноздри ее трепетали, перед глазами во мраке плавали радужные круги.

Сквозь высокий голос Плевицкой и сухой треск граммофонной иглы Таня слышала, как выразительно сопит старая

нянька в бархатном кресле и как от нее пахнет ванильными сухарями. Слева, из буфетной, донесся музыкальный звон посуды, густо потянуло одеколоном «Гвоздика». Лакей Степа поливался им каждое утро. Из отцовского кабинета приплыл мягкий медовый дым сигары. Таня сделала несколько неверных шагов в неизвестность. Раздался тихий фальшивый Андрюшин смех, отрешенный художественный свист Володи. Ее вдруг обдало сухим жаром. Она испугалась, что сейчас налетит на печь, и тут же врезалась во что-то большое, теплое, шершавое.

– Танечка, – пробормотал полковник Данилов, – Танечка.

Ничего больше он сказать не мог. Он только что вошел в гостиную, столкнулся с незрячей Таней. Они обнялись, нечаянно, неловко, и так застыли. Она успела услышать, как быстро у него бьется сердце. Он успел прикоснуться губами к ее макушке, к белой тончайшей линии пробора.

Таня оттолкнула Данилова, содрала с глаз черную повязку и пыталась распутать волосы.

– Павел Николаевич, ну, помогите же мне! – собственный голос показался ей противным, визгливым.

У полковника слегка дрожали руки, когда он выпутывал пряди ее волос, застрявшие в узле. Тане хотелось его ударить и поцеловать, хотелось, чтобы он ушел сию минуту и чтобы не уходил никогда. Она наконец могла видеть. Он стоял перед ней, комкая в руках черный шарф. Она чувствовала, как у нее пылают щеки.

Когда Таня называла полковника Данилова стареньким и седеньким, она, конечно, лгала, прежде всего самой себе. Полковнику было тридцать семь лет. Невысокий, крепкий, сероглазый, он стал седым на фронте, еще на японской войне. Тане он снился чуть ли не каждую ночь. Сны были совершенно неприличные. Она злилась и при встрече боялась взглянуть ему в глаза, как будто и вправду уже произошло между ними все то стыдное, жаркое, жуткое, отчего второй год подряд она просыпалась среди ночи, жадно пила воду и бежала глядеться в зеркало в зыбком свете уличного фонаря, люющегося в окно спальни.

Утром на первых двух уроках в гимназии Таня зевала, жмурилась, грызла кончик своей длинной светлой косы. Потом про сон забывала, жила, как обычно, вплоть до следующей ночи.

Володя язвил, что сестра влюбилась в старого монархиста, ретрограда, мракобеса, и теперь ей только остается повесить у себя в комнате семейный портрет Романовых, венчаться с полковником, рожать ему детей, толстеть, тупеть и вышивать крестиком.

Андрюша мрачно, выразительно ревновал. Ему едва исполнилось двенадцать. Мама умерла родами, когда он появился на свет. Таня была похожа на маму, много возилась с маленьким братом. Няня внушила Андрюше, что маменька стала ангелом и смотрит на него с неба. Андрюша внушил самому себе, что Таня – полноправный земной представи-

тель ангела маменьки и потому должна прилежно выполнять все ангельские обязанности.

К Таниным поклонникам он относился снисходительно, презирал их и даже иногда жалел. Только полковника Данилова ненавидел, тихо и серьезно.

«Ерунда. Андрюшка все выдумал», – решила Таня, подошла к этажерке, принялась перебирать граммофонные пластинки.

Андрюша встал рядом, спиной к гостю, картинно приклонил голову сестре на плечо. Они были почти одного роста, и стоять ему так, с вывернутой шеей, было ужасно неудобно. Полковник остался один посреди гостиной. Подождав минуту, он кашлянул и тихо произнес:

– Татьяна Михайловна, поздравляю вас с именинами, тут вот подарок. – Он вытащил из кармана маленький ювелирный футляр и протянул Тане.

Таня вдруг испугалась. Она поняла, что это не ерунда, что Данилов действительно говорил с ее отцом о ней, а отец настолько занят своими пробирками и крысами, что не взял на себя труд предупредить Таню.

Золотой замочек не открывался. Таня сломала ноготь.

– Давайте, я попробую, – подал голос Володя, который до этой минуты сидел в кресле, рассеянно листая журнал.

В первую секунду Тане показалось, что на синем бархате сидит живой светлячок. Володя присвистнул. Андрюша презрительно фыркнул и пробормотал: «Подумаешь, стекляш-

ка!» Данилов надел Тане на безымянный палец кольцо из белого металла с небольшим, удивительно ярким прозрачным камнем. Кольцо оказалось впору.

– Его носила еще моя прабабушка, – сказал полковник, – потом бабушка, мать. У меня нет никого, кроме вас, Татьяна Михайловна. Отпуск кончается, завтра я возвращаюсь на фронт. Ждать меня некому. Простите. – Он поцеловал Тане руку и быстро вышел.

– Бедненький, – прошипел из угла Андрюша.

– Ну, что же ты застыла? – усмехнулся Володя. – Беги, догони, заплачь, скажи: милый, ах, я твоя!

– Вы, два идиота, заткнитесь! – крикнула Таня почему-то по-английски и побежала догонять Данилова.

– Дети, что случилось? Танечка куда помчалась? Где Мишенька? – прошуршал ей вслед испуганный голос няни.

В прихожей полковник надевал шинель.

– Завтра? – глухо спросила Таня.

Плохо понимая, что делает, она ухватила за лацканы его шинели, притянула к себе, уткнулась лицом ему в грудь и забормотала:

– Нет, нет, я замуж за вас не выйду ни за что. Я слишком люблю вас, а семейная жизнь пошлость, скука. И запомните. Если вас там убьют, я жить не стану.

Он погладил ее по голове, поцеловал в лоб.

– Будете ждать меня, Танечка, так и не убьют. Я вернусь, мы обвенчаемся. Михаил Владимирович сказал, это вам ре-

шать. Он никаких преград не видит. Разве что война, так она кончится, надеюсь, что скоро.

Москва, 2006

Соня проснулась среди ночи от странного звука, как будто за стеной кто-то пытался завести мотоцикл. Несколько минут она лежала, ничего не понимая, смотрела в потолок. Было холодно, на улице мела метель. Следовало встать, закрыть форточку, посмотреть, что там, за стеной, происходит.

На экране мобильного высветилось время – половина четвертого. Спать больше не хотелось. Температура упала. Соня поняла наконец, что уснула в папиной комнате, на его тахте, а за стеной храпит Нолик.

Напротив окна качался фонарь, тени на потолке и на стенах двигались. Соне вдруг показалось, что папина комната живет своей таинственной ночной жизнью и она, Соня, здесь лишняя. Никто не должен видеть, как трагически сгорбилась настольная лампа, как дрожат занавески, как блестит подернутый слезной влагой огромный прямоугольный глаз, зеркало платяного шкафа.

Стоило шевельнуться, и тахта заскрипела.

– Лежишь? – слышалось Соне. – А ты не думаешь, что твоего любимого папочку могли убить?

– Кто? Почему? – испуганно вскрикнула Соня и от звука собственного голоса окончательно проснулась, включила свет.

Диагноз, который поставил врач «скорой», ни у кого не

вызвал сомнений: острая сердечная недостаточность. Соня была в тот день как сомнамбула, механически отвечала на вопросы, под диктовку врача и милиционера заполнила разлинованный бланк.

«Я, Лукьянова Софья Дмитриевна, 1976 года рождения, проживающая по такому-то адресу. Такого-то числа, в таком-то часу я зашла в комнату своего отца, Лукьянова Дмитрия Николаевича, 1939 года рождения. Он лежал на кровати, на спине, накрытый одеялом. Дыхание отсутствовало, пульс не прощупывался, кожа на ощупь была холодной...»

Она упрямо повторяла, что ее папа был здоров и на сердце никогда не жаловался, как будто хотела доказать им и себе, что смерть – недоразумение, сейчас он откроет глаза, встанет.

– Шестьдесят семь лет, к тому же Москва. Кошмарная экология, постоянные стрессы, – объяснял врач.

Он был пожилой и вежливый. Он сказал, что о такой смерти можно только мечтать. Человек не мучился, умер во сне, в своей постели. Да, наверное, мог бы прожить еще лет десять-пятнадцать, но сейчас молодые мрут как мухи, а тут старик.

Все хлопоты, расходы на похороны и поминки взял на себя институт. Кира Геннадьевна, жена Бима, постоянно находилась рядом с Соней, кормила ее успокоительными таблетками, но у Сони были сильные спазмы в горле, она с тру-

дом сумела проглотить только одну капсулу, а потом началась неудержимая рвота, и пока все сидели за поминальным столом, Соню в ванной выворачивало наизнанку.

На следующий день после похорон и поминок у Сони поднялась температура. Она не подходила к городскому телефону. Мобильный отключили за неуплату.

Вчера кто-то положил деньги, и мобильный заработал.

– Если постоянно думать об этом, можно сойти с ума, – сказала себе Соня, – ведь никому, ни единому человеку такое в голову не пришло.

Соня сжала виски и заплакала.

Между тем храп прекратился. За стеной слышалась возня, скрип, кашель, шарканье. Нолик в пледе, как в римской тоге, возник в дверном проеме.

– Ты чего? – спросил он сквозь зевоту.

Соня продолжала плакать и не могла сказать ни слова. Нолик сходил на кухню, вернулся с чашкой холодного чая. Она пила, и зубы стучали о край чашки.

– А температура упала, – сказал Нолик, пощупав ее лоб, – будешь рыдать, опять поднимется.

– Иди спать, – сказала Соня.

– Ну ты даешь! – возмутился Нолик. – Ты бы на моем месте ушла? Заснула бы? Слушай, ты так и не рассказала, о чем вчера вы говорили с этим Беркутом? Что в итоге он тебе предложил?

– С Куликом. – Соня всхлипнула. – Он назначил встре-

чу на завтра. Там какой-то грандиозный международный проект, создание биоэлектронного гибрида. Морфогенез in vitro, под контролем компьютера.

– Не понял. – Нолик нахмурился и покрутил головой.

– Они хотят не просто выращивать ткани в пробирках, но руководить этим процессом, командовать клеткой, – объяснила Соня и вытерла слезы. – Конечно, теоретически это имеет отношение к моей теме, но все-таки странно, почему вдруг они проявили такую активность. Кулик даже не стал ждать моего звонка, позвонил сам. Это совершенно на него не похоже.

– У тебя, Софи, заниженная самооценка. Встряхнись, приди в себя. Смотри, сколько всего хорошего случилось. Остается только вылечить твое ухо.

– И оживить папу, – пробормотала Соня.

– Все, хватит! – Нолик повысил голос, встал, прошелся по комнате. – Когда умирают родители, это больно, тяжело. Но, Софи, это нормально. Дети не должны тормозить на полном ходу, понимаешь? Если я не сопьюсь окончательно и все-таки найдется женщина, которая решится родить от меня ребенка, я буду заранее готовить его к этому, приучать к простой мысли, что родители уходят первыми. Да, Дмитрий Николаевич умер, горе огромное, но твоя жизнь продолжается.

– А если его убили? – вдруг спросила Соня.

Нолик застыл с открытым ртом, закашлялся, схватил бумажный платок, распотрошил трясущимися руками всю пач-

ку, вытер мокрый лоб.

— Есть яды, которые не оставляют никаких следов в организме и своим действием имитируют картину естественной смерти, например от острой сердечной недостаточности, — чужим, механическим голосом продолжала Соня. — Что-то происходило в жизни папы в последние два месяца. Он сильно изменился. Кто-то давил на него, от него чего-то хотели. В ресторане, в последний вечер, у него состоялся с кем-то очень тяжелый разговор. Я никогда не видела его в таком состоянии, пожалуй, только когда мама уехала, и то он держался лучше.

— Так может, у него просто болело сердце, и он тебе ничего не говорил? — спросил Нолик, немного успокоившись. — Дмитрий Николаевич всегда был здоровым, привык к этому. И тут — как гром среди ясного неба. Боли в сердце, плохое самочувствие. Он мог ходить на какие-то обследования, пытался лечиться и не хотел тебя грузить. Возможно, и в Германию он летал, чтобы проконсультироваться с врачами, пройти курс лечения. Болезнь на него давила, Софи, какая-то тяжелая и сложная болезнь сердца, от которой он в итоге умер. Не накручивай себя, не выдумывай злодеев с ядом в ресторане.

— Логично, — Соня вздохнула, — да, пожалуй, ты прав. Ну, а портфель? Фотографии?

— Да! Насчет фотографий! — крикнул Нолик и по своей дурацкой театральной привычке хлопнул себя по лбу. Иногда

он не рассчитывал силы, и на лбу оставались красные полосы. — Я понял, кого мне напоминает девочка с косой! Странно, что ты не узнала ее!

Нолик оглядел комнату, подошел к книжным полкам. Там, за стеклом, стояло несколько снимков. На самом большом и старом, взятом в рамку, была запечатлена строгая и очень красивая девушка. Волосы казались темней, чем на фотографиях из папиного портфеля. Коса не видна, убрана в пучок на затылке. Сонина бабушка, папина мама, Вера Евгеньевна Лукьянова, совсем юная.

Москва, 1916

Пехотный унтер Самохин жаловался, что правая рука у него затекает, пальцы пухнут и чешутся. На указательном врос ноготь, хорошо бы вырезать.

– Я, барышня, играю на гитаре и должен беречь пальцы.

Таня откинула одеяло и увидела забинтованную культю. Правая рука унтера была ампутирована до предплечья. Таня поправила ему подушку, погладила бритую голову и произнесла, подражая двум старым сестрам-монахиням, работавшим тут же, в послеоперационной палате:

– Голубчик, миленький, потерпи.

Койка в другом конце палаты скрипела, сиплый голос тихо напевал:

– Царь на троне, вошь в окопе. У германца пуля в жопе.

На подушке возлежала большая розовая голова, бритая, как у всех раненых. Длинные руки были подняты вверх, пальцы сжимались, разжимались, кисти совершали странные круговые движения. Под одеялом угадывалось короткое тело. Плоский холм размером с туловище, а дальше ничего.

– Руки упражняю, – объяснил солдат, – теперь они у меня вместо ног. Ноги я, видишь, французу одолжил, в навечное пользование, Верден ихний от германцев отбивал. И на кой леший, спрашивается, мне ихний французский Верден сдался? Что я там забыл? Небось, они за мою деревню Канавки

воевать не прибегут.

– Чешутся, чешутся пальцы-то, – повторил унтер.

– Ничего, не волнуйтесь, это скоро пройдет, – сказала Таня.

Сухие губы унтера растянулись, сверкнул стальной клык.

– Что пройдет? Что? Новая рука вырастет?

– А говорят, доктор Свешников такие опыты делает, чтоб у человека отрастали руки, ноги, как, к примеру, хвост у ящерицы, – громко произнес безногий.

– Сказки все это, – сказала Таня и почувствовала, что краснеет, – никаких таких опытов профессор Свешников не делает.

– Ты почему знаешь, барышня? – глухо спросил молодой солдат, сосед унтера.

У него была забинтована вся голова. Виднелся только рот. Его ранило в лицо шрапнелью, он лишился глаз и носа.

Безногий прекратил свои упражнения, в палате стало тихо.

– Я знаю. – Таня растерянно оглядела палату. – Я знаю потому, что человек не саламандра!

– Волосы отрежешь – растут. И борода растет, и ногти, даже у покойника, – весело произнес еще один безногий, на койке у окошка, – и кожа новая вырастает на месте раны. Почему бы тогда не вырасти, скажем, целой ногой или руке?

– У младенца как молочные зубки выпадут, так новые-то вылезают, – поддержал безногого унтер.

– Это совсем другое. Зачатки постоянных зубов существуют заранее, – стала объяснять Таня, – волосы и ногти состоят из особых клеток, роговых. А новая кожа образуется только на небольших поврежденных участках, этот процесс называется регенерацией тканей, но если повреждена значительная часть кожного покрова, организм с этим справиться не может.

Палата молчала и слушала. Раненые смотрели на Таню. Казалось, даже безглазый смотрит. Тане стало совестно. Что-то фальшивое почудилось в собственном бодром снисходительном тоне.

«Зачем им мои научные лекции? – подумала она. – Им нужны их живые руки, ноги, глаза или хотя бы вера в невозможное».

– Косьма и Дамиан, святые праведники, от мертвеца ногу отпилили, к живому пришили, помолились, и ничего, все срослось. Ходил человек, нога прижилась как родная, только была она черная, потому как покойник африканец, а этот, кому пришили, сам-то белый, – громко сообщил безногий и позвал Таню: – А ну, красавица, помоги. Мне по малой нужде надо.

На спинке кровати Таня прочитала: «Иван Карась, 1867 г.р., рядовой...»

– Фамилия у вас интересная, – улыбнулась Таня, вытаскивая из-под кровати эмалированную утку.

– Хорошая фамилия, не жалуюсь. Карась – рыбка полез-

ная. Подсоби, или вот что, лучше старуху монашку покличь, я тяжелый.

– Ничего, – Таня старалась не морщиться от запаха, хлынувшего из-под солдатского одеяла.

Иван Карась был весь мокрый. Видно, не дотерпел и не почувствовал.

«Перчатки, – испуганно подумала Таня, – папа сказал, это надо делать только в перчатках...»

Но отойти она уже не могла. Ей было неловко брезговать солдатом, звать на помощь полную, астматическую матушку Арину, которая только что легла поспать в сестринской комнате.

– У меня младшая, Дуняша, на тебя похожа, – сказал солдат, – такая же голубоглазая, шустрая. В горничных она, в Самаре, у купцов Рындиных. Ничего, люди не злые, платят честно, к каждому празднику подарочек. Старшая моя, Зинка, тоже стала городская, на модистку обучилась. Сыновья оба воюют. Тут это, маманя моя приехала из деревни, у снохи живет на Пресне, успеть бы повидать ее. И за батюшкой надо бы послать кого-нибудь, причаститься мне. Я ж сегодня ночью вроде как помру. Бог на небе, кони в мыле, а солда тушки в могиле.

Таня чуть не выронила утку. Безногий говорил спокойно, рассудительно, губы его не переставали улыбаться. Только теперь Таня заметила, что он пылает и сквозь бинты на культах сочится кровь.

– Подождите, миленький, я сейчас, – она бросилась вон из палаты.

Два часа назад привезли новую партию раненых, все врачи были заняты. Михаил Владимирович проводил срочную операцию и отойти не мог. К Ивану Карасю явился молодой хирург Потапенко вместе с фельдшером и двумя сестрами.

– Плохо дело. Гнойное воспаление обеих культей, вот-вот начнется гангрена, а резать дальше некуда, – сказал Потапенко.

Повязки сняли, раны промыли, но с лихорадкой справиться не сумели. Явился батюшка. Карась долго тихо исповедался в палате. Дьякон читал молитву. Запах ладана успокаивал, усыплял. Таня впервые за эти дни почувствовала долгожданную животную усталость, без всяких мыслей, без замирания сердца и горячего комка в горле.

Это была ее третья ночь в госпитале. Отец отговаривал, она не слушала. Она все равно не могла спать, с начала Великого поста пребывала в лихорадочном возбуждении. Ей хотелось действовать, преодолевать трудности, нестись, спасать кого-то.

В середине марта от полковника Данилова пришло короткое письмо. Его передал молодой толстый поручик. Данилов писал, что жив, из-за весенней распутицы чувствует себя болотной лягушкой, мечтает о трех вещах: увидеть Таню, выспаться и послушать хорошую музыку. На Пасху надеется получить отпуск, но загадывать не стоит.

«Танечка! Передайте Михаилу Владимировичу, что его предположения о холоде, скорее всего, верны. В феврале раненые, оставленные на открытом воздухе, на снегу, теряли меньше крови и выживали».

Поручик очень спешил, отказался от чая. Таня при нем села писать ответ. Первый вариант разорвала, второй тоже. Поручик теребил бахромку скатерти, качал ногой и смотрел на часы. В итоге было написано следующее:

«Павел Николаевич! Мне без вас одиноко и скучно. Пожалуйста, возвращайтесь скорее. Знаю, от Вас это не зависит. Каждый вечер, от восьми до девяти, буду играть для Вас Шопена и Шуберта. Вы в это время думайте обо мне и воображайте, будто слушаете музыку. Папа сейчас в госпитале, а ваш поручик ждать не может. Он сидит, качает ногой, и я нервничаю. Ваша Т.С.».

— Вот! И не надо никаких теоретических доказательств! – сказал отец, когда Таня показала ему записку Данилова. – На холоде мозг потребляет меньше кислорода, сосуды сужаются. Это известно с глубокой древности. Для доказательств сейчас времени нет. Я бы написал Павлу Николаевичу, у меня к нему масса вопросов. Этот поручик адреса не оставил?

– Нет. Но ты все равно напиши, – посоветовала Таня, – может, будет опять оказия.

Даже самой себе она боялась признаться, что ожидание

этой okazji, очередной весточки от полковника, стало смыслом ее жизни. Вечерами, с восьми до девяти, она садилась за рояль в гостиной и играла, даже если слушать, кроме глухой няньки, было некому.

С фронта приходили дурные вести. Но казалось, всем наплевать. Патриотический подъем осени и зимы четырнадцатого давно сменился равнодушием. В феврале началось генеральное наступление немцев на Западном фронте. Шли отчаянные безнадежные бои под Верденом. Французское и итальянское правительства требовали помощи. Россия честно выполняла союзнический долг.

18 марта 1916 года русские войска двинулись на Запад. В боях на Двинском и Виленском направлениях потеряли 78 тысяч человек. Общество было больше занято сплетнями о Распутине, спиритическими и гипнотическими опытами, скандальными уголовными процессами, ставками на бирже.

В воскресенье Таня спала весь день. В понедельник сходила в гимназию, вечером опять была в госпитале.

Рядовой Иван Карась был еще жив. На стуле возле его койки сидела маленькая сухая старушка. Таня застыла на пороге палаты. Старушка сняла повязки с культей. На тумбочке стоял какой-то грязный горшок, старушка смачивала в нем тряпицы и обкладывала открытые раны.

– Что вы делаете? – крикнула Таня.

– Не кричи, дочка, мне доктор разрешил.

– Какой доктор?

– Самый лучший, – подал голос Карась, – профессор Свешников Михаил Владимирович.

– Вы ерунду говорите, не мог он вам разрешить, не мог! Сейчас же прекратите!

– Успокойся, Танечка, – сказал отец, когда она нашла его в соседней палате, – это плесень гниющего иссопа. Знаешь такое растение? Оно даже в Псалтири упоминается: «Окропи меня иссопом, и буду я чист; омой меня, и буду белее снега».

– Знаю, – буркнула Таня, – но только иссоп не растет в Палестине, и значит, в Псалтири говорится о каком-то другом растении.

– Умница, – профессор погладил ее по голове, – библейский иссоп, то есть езов, – это на самом деле каперсы, или чабер из семейства губоцветных. В древности верили, что это растение очищает от проказы.

– Папа, хватит! Ты же не темная бабка, ты знаешь, что плесень – это грязь. Это негигиенично.

– Танечка, это ты все знаешь о медицине, а я чем больше занимаюсь ею, тем яснее чувствую ничтожность моих знаний. – Михаил Владимирович вздохнул и покачал головой. – В древнейшем египетском медицинском папирусе Смита приводятся рецепты лечения гнойных ран хлебной и древесной плесенью. Это шестнадцатый век до нашей эры. В народной медицине плесень используют уже несколько тысяч лет, и у нас, и в Европе, и в Азии. Иногда она помогает. Как, почему – неизвестно.

Глава третья

Кроме ресторана «Жетэм» и серебристого спортивного «Лаллета», который стоил около миллиона евро, Петру Борисовичу Кольту принадлежала еще дюжина ресторанов в Москве, Петербурге, Праге и Ницце. Рестораны были его хобби. Он покупал их для удовольствия, а не ради прибыли, так же как виллы на самых красивых побережьях, яхты, спортивные автомобили, картины и яйца Фаберже.

Кольт стоял во главе небольшой, но крепкой финансовой империи, включающей в себя пару-тройку банков, десятков нефтяных скважин, сеть бензоколонок и скромных водочных заводиков в российской провинции. Кольт был соучредителем нескольких благотворительных фондов и премий. За пожертвования на строительство православных храмов получил орден Святого Благоверного князя Даниила Московского третьей степени. За заслуги перед буддистской верой был удостоен звания почетного буддиста и доктора буддистской философии, что отчасти справедливо, поскольку по образованию Петр Борисович был философ.

В далеком шестьдесят пятом году он окончил философский факультет МГУ. Диплом защищал не по буддизму, а по марксизму-ленинизму, после чего был взят на ответственную должность второго секретаря по идеологии сначала в районный, а потом в городской комитет ВЛКСМ.

В застойные семидесятые он заведовал отделом в ЦК ВЛКСМ, пользовался всеми положенными по статусу благами, но с самого начала своей успешной комсомольской карьеры чувствовал зыбкость, ненадежность советской номенклатурной пирамиды и, карабкаясь вверх, не забывал подстелить себе соломки на случай, если придется падать.

Падать не пришлось. В число его друзей входило несколько крупных подпольных цеховиков и даже один воровской авторитет, и смутные девяностые не застали Кольта врасплох.

Вареные джинсы, поддельные кассеты, водочные этикетки, кооперативные ларьки, финансовые пирамиды, недвижимость – все приносило ему деньги. Бешеный галоп инфляции, приватизация, сначала ваучерная, потом залоговые аукционы, путчи, кризисы, дефолты – все шло Петру Борисовичу на пользу, потому что он был человек умный и нежадный, умел идти на компромиссы и просчитывал любую ситуацию на несколько ходов вперед.

Цеховиков поубивали и пересажали, авторитет сбежал в Америку, был там арестован со скандалом, но к этому времени Петр Борисович уже не дружил с ними. Его друзьями стали ветераны-афганцы, спортсмены, молодые политики-реформаторы. Он не жалел денег на учреждение фондов помощи и тем, и другим, и третьим, он помогал ветеранам милиции, монастырям и домам престарелых, участвовал в строительстве оздоровительного центра для сирот.

В середине девяностых он был избран депутатом Думы от Вуду-Шамбальского автономного округа и даже съездил туда, в восточную степную глушь, где гудели пыльные бури, вольно паслись табуны красных лошадей, женщины в ярких платках с плоскими смуглыми лицами курили трубки. Стоило сделать в твердой степной земле дырку, и оттуда сразу взлетал в небо фонтан нефти.

Молодой бойкий губернатор Герман Ефремович Тамерланов считался там живым воплощением древнего божества Йоруба, жители молились его бюстам, расставленным повсюду в городах и поселках. Божество разъезжало по дрянным степным дорогам на открытом «Феррари», играло в теннис и имело гарем из двенадцати женщин разных национальностей.

Петр Борисович с божеством подружился, был пожалован титулом воплощенного Пфа, брата Йорубы, помог Йорубе построить конный завод, наладить производство одеял из овечьей шерсти и прикупил парочку свежих нефтяных скважин.

В степи изобильно росла трава кхведо, по свойствам своим весьма похожая на коноплю, но осторожные предложения Йорубы развернуть совместный бизнес Кольт вежливо отклонил.

Всю вторую половину девяностых Петра Борисовича избирали, награждали, поздравляли, наделяли полномочиями и гарантиями неприкосновенности. Он улыбался, жал руки,

произносил речи, лоббировал законы в Думе, выступал в теледебатах и жалел только об одном – что в сутках всего лишь двадцать четыре часа.

Его грабили и шантажировали, пытались оклеветать, арестовать, убить. Но и это шло ему на пользу. Он набирался опыта, его интуиция обострялась, он еще глубже и ярче чувствовал прелесть жизни.

Двадцать первый век Петр Борисович встретил во французских Альпах, на горнолыжном курорте Куршевель, в лучшем ресторане, где официанты давно говорили по-русски.

Всю ночь бурлила вечеринка. В небе вспыхивали разноцветные огни фейерверков. Дрессированные медведи в бачках разносили хрустальные вазы с черной икрой, гости поливали друг друга шампанским. Орала музыка, пьяны были все – олигархи, политики, шоу-звезды, модели. Кто-то лез на сцену произносить очередной тост, кто-то на стол – исполнять танец живота.

Какой-то молодой миллионер заказал для этой вечеринки у известного жулика-сводника голливудскую звезду, признанную самой красивой женщиной земного шара, но вместо звезды ему привезли трех молоденьких моделей, похожих на звезду, как родные сестры. Миллионер хотел убить сводника, но тот успел удрать, миллионера успокоили, напоили до бесчувствия.

Был устроен конкурс стриптиза. Не только девушки-модели, но и зрелые дамы, дизайнеры, владелицы модных га-

лерей и магазинов, лидерши мелких партий, правых и левых, прыгали на эстраду, под свист и аплодисменты обнажались до белья. Среди желающих раздеться оказался немолодой модный певец. Он красиво швырял одежду в публику и тяжелой пряжкой брючного ремня подбил глаз популярной телеведущей. Крошечная собачонка мальтезе с паническим тьяканьем прыгнула с ее колен, заметалась под ногами официанта, он покачнулся и обрушил все, что нес на подносе, на голову молодого лидера левой оппозиции. Черепаховый суп и спаржевое пюре, по счастью, оказались не слишком горячими. Телеведущая шумно требовала компенсации, но не за подбитый глаз, а за бриллиантовую заколку-бантик, которая соскользнула с белоснежной шерсти ее нервного песика и потерялась в сутолоке под ногами толпы.

Было весело, как год назад, и два, и три года назад. Кольт любил такое веселье. Он расслаблялся, смеялся чужим шуткам, острил сам, пил много, но не напивался, иногда приглядывал для себя какую-нибудь новенькую девочку, иногда даже умудрялся заложить основу серьезной сделки.

Но в ту новогоднюю ночь Петру Борисовичу почему-то вдруг стало скучно. Посреди всеобщего безумства он затосковал. Произошло это в туалете. Там было слишком яркое освещение. Он мыл руки, смотрел на свое лицо и думал, что ему пятьдесят девять. Маячит седьмой десяток. Он самый старший из всех в этом ресторане. Он старый. Ему хочется спать, у него покалывает сердце. Наступил век, в котором

жить ему осталось лет десять, не больше.

Конечно, подобные мысли и раньше приходили ему в голову. Он думал о смерти много и часто, но совсем иначе. Пуля, взрывчатка, яд, хорошо разыгранный несчастный случай. Такая смерть была постоянной его спутницей, собеседницей, партнером по бизнесу, иногда другом, иногда врагом. Он привык к ней, как к родной, умел договориться, откупиться, перехитрить. Здравый смысл, интуиция, деньги – всем этим он обладал в избытке. Но в ослепительной гонке последних двадцати лет он как будто забыл, что есть и другой вариант финала.

Смерть естественная, никем не заказанная, никому не выгодная, но неизбежная, смотрела на него в ту новогоднюю ночь из зеркала роскошного ресторанного туалета, и без слов было ясно, что с ней не договоришься. Ни деньги, ни власть, ни связи, ничего ей не нужно.

– Все суета сует, – прошептал Кольт.

С той ночи он постоянно повторял эту фразу и про себя, и вслух.

Москва, 1916

Старуха не только смазывала раны своего сына плесенью иссопа, но еще и кормила его с ложки этой гадостью. Рядовой Иван Карась выжил. А вот пехотный унтер Самохин, которому ампутировали правую руку, умер, хотя заживление у него шло отлично.

– От тоски, – объяснил Тане его сосед.

– У него оказалась грудная жаба, – сказал Михаил Владимирович, – я, старый дурак, проворонил.

Караса перевели в другую палату. В мастерской при госпитале для него сделали примитивную инвалидную коляску. Целыми днями в сопровождении своей матери он разъезжал по коридорам, привязанный к доске на колесах, учился отталкиваться от пола короткими костылями.

Унтера снесли на кладбище. На освободившиеся койки положили двух новых раненых.

– Папа, это правда, что святые Косьма и Дамиан пришили человеку чужую ногу? – спросила Таня.

– Не знаю. Они жили в третьем веке в Риме, были хирургами. Есть полотно Франческо Бетулино. Напомни, дома я покажу тебе репродукцию. Нога на полотне черная. Возможно, ее, правда, пересадили от чернокожего человека. Но, скорее всего, нога почернела. Чужая конечность не прижилась, началась гангрена. Вообще, попытки пересадки живой ткани

в большинстве случаев заканчиваются неудачей. Организм воспринимает их как враждебные и отторгает. Когда-нибудь, лет через пятьдесят, наука справится с этим.

От госпиталя до дома они шли пешком. Было первое по-настоящему весеннее утро. Небо расчистилось, солнце сияло в лужах и в оконных стеклах. Таня ловко обходила лужи, но все равно забрызгала грязью и промочила насквозь свои кремовые замшевые ботинки на высоких каблуках.

– Говорила тебе нянька: надень боты! – ворчал Михаил Владимирович. – Никогда никого не слушаешь, всегда поступаешь по-своему, даже в мелочах.

У храма Большого Вознесения толпились нищие. Шла обедня.

– Зайдем? – спросила Таня.

– Ну, если ты так хочешь, – профессор зевнул, – честно говоря, я мечтаю поскорей принять ванну и выспаться.

– Не волнуйся, мы недолго.

Тане хотелось поставить свечи, подать записки о здравии своего полковника и за упокой души унтера Самохина. В Бога она верила искренне и просто, как в раннем детстве, когда в храм ее водила нянька, так и сейчас. В гимназии многие прогрессивные барышни над ней смеялись. Барышни ее возраста и старше увлекались спиритизмом, читали «Теософский вестник», ходили к медиумам и гадалкам. Быть православной в культурном кругу считалось не то что старомодным, но почти неприличным. Брат Володя нарочно при Та-

не издевался над церковью, священников называл «попиками», зачитывал сплетни из бульварных газет о распутстве и обжорстве монахов, о гомосексуализме среди высшего духовенства. Таня никогда не спорила, старалась уйти, потом горячо, до слез, молилась за брата. Она знала, какими мерзостями занимается Володя в своем веселом оккультном кружке.

Михаил Владимирович атеистом не был, но церковь считал всего лишь одним из государственных учреждений. Танины чувства щадил, в храме аккуратно крестился и в Великий пост не ел скромного.

Когда поднялись на паперть и стали раздавать нищим мелочь, крошечная, похожая на птичью лапку рука вцепилась в подол Таниной белой шубки.

– Помоги, помоги...

Высокий голос звучал совсем тихо, но заглушал остальные голоса. Существо в истлевшей гимназической тужурке, в кальсонах и огромных кирзовых сапогах смотрело на Таню выпуклыми карими глазами без ресниц. Голова была замотана рваной вязаной шалью. Маленькое сморщенное лицо казалось злой карикатурой и на ребенка, и на старика, и вообще на человека. Здоровая баба в лохмотьях дернула ребенка-старика за ворот тужурки, прошипела:

– Оська, черт, не тронь благородную барышню, отцепись, замараешь дорогую шубку! Иди к своей синагоге, там проси, не здесь! Барышня-красавица, подай на хлебушек солдат-

ской вдове, пожалей деток-сироток!

То ли баба встряхнула Оську слишком сильно, то ли сам он едва держался на ногах, но ребенок-старик стал вдруг медленно падать, и так получилось, что упал он Тане на руки. Михаил Владимирович приподнял голое веко, пощупал пульс.

– Обморок, – тихо сказал он Тане.

Она держала мальчика на руках, он был странно легким, почти бесплотным. Профессор побежал за извозчиком. Через двадцать минут вместе с ребенком-стариком они вернулись в госпиталь. По дороге он очнулся. Сказал, что чувствует себя хорошо, зовут его Иосиф Кац, ему через месяц будет одиннадцать лет.

– Где твои родители? – спросил Михаил Владимирович.

– Дома, в Харькове, – ответил мальчик.

Пока Таня вместе с сестрой Ариной мыла его и кормила, он успел рассказать, что учился в первом классе гимназии и сбежал из дома с бродячим цирком. По дороге в повозку попала немецкая бомба, все погибли, а он выжил, но стал седым от пережитого ужаса.

– Так родители твои ищут ведь тебя, волнуются, – покачала головой сестра Арина.

– Ничего. Я им телефонировал, – ответил мальчик, – они все знают.

– Что – все? – спросила Таня.

– Что я в Москве и буду поступать в театр. Я хочу сыграть

шута в «Короле Лире». Вот только поправлюсь, то есть вылечусь.

Когда мальчика стал осматривать Михаил Владимирович, ребенок болтал без умолку. Признался, что из дома не сбежал, просто так получилось случайно. Давно, еще летом, на полянке возле дачи сел немецкий аэроплан. Летчик спросил Осю, где тут ближайший трактир, и ушел обедать, а Ося залез в кабину, стал крутить руль, нажал на рычаг, аэроплан возьми и взлети. Ося сначала испугался, но потом ему понравилось, он летел выше облаков и даже взял пассажира, старого ворона Ермолая. Ворон этот жил когда-то на дереве возле дома Оси, был умный и добрый, умел говорить, ел с рук, но потом пропал. И вот Ося встретил его в небе, взял в кабину своего аэроплана. Ворон рассказал, что сбежал от филеров охраны, поскольку сочувствовал социал-демократам, ночами расклеивал листовки и мерзавцы воробьи донесли на него.

– Мы с Ермолаем летали, пока не замерзли. В небе ведь холодно, холодней, чем на земле. Приземлились ночью в Москве, в Нескучном саду. Было темно, никто нас не видел. Мы зарыли аэроплан в клумбу. Я решил остаться в Москве инкогнито, поменять фамилию и стать великим артистом кинематографа, как господин Чаплин. Ермолай побоялся остаться. За ним охотились филеры, у него не было паспорта, и он нарушил черту оседлости. Мы попрощались.

– Где же ты живешь? – спросил профессор, прощупывая

железки у ребенка на шее.

– Теперь нигде. А раньше на Малюшинке, в странноприимном доме, там кухарка Пелагея Гавриловна добрая женщина. Я ей помогал чистить картофель и газеты читал с выражением. Но потом у нее случилась личная драма. Ее интимный друг Пахом стал изменять ей с дочкой хозяина дома. Пелагея Гавриловна запила. Как напьется, так сначала плачет, а потом бьет меня чем попало, кричит, будто я продал Христа. Я пробовал ей объяснить, что это преступление произошло очень давно, тысяча девятьсот шестнадцать лет назад и я в нем участвовать никак не мог. Но она злилась еще больше, махала кочергой, потом заявила, что я немецкий шпион, масон, погубил Россию, пеку мацу на крови христианских младенцев. Я говорил, что пишу с кровью евреи не едят, она не кошерная, и мацу делают только из воды и муки, даже соли не кладут.

– Ося, ты помнишь, когда и как ты заболел? – спросил Михаил Владимирович.

– Лет в пять, наверное. Сначала я стал худеть. Мама кормила меня изо всех сил, но я худел. Я был бледный, и кожа совсем сухая, сморщенная. Потом побелели волосы, и я стал задыхаться, как побегаю немного, так задыхаюсь.

– Родители показывали тебя каким-нибудь докторам?

– Конечно. Меня смотрели лучшие доктора Харькова, даже сам профессор Лямпорт.

– Лямпорт? Иван Яковлевич? Очень интересно. Ты пом-

нишь, что он сказал?

– Отлично помню. Он сказал, что я умный мальчик, что все пройдет. Надо есть больше мяса, овощей и фруктов, быть на свежем воздухе, обтираться холодной водой и делать гимнастику. – Ося вдруг раззевался, принялся тереть глаза.

Когда Михаил Владимирович уложил его на кушетку и прощупывал живот, ребенок уснул как убитый. Профессор накрыл его пледом, задернул шторы в кабинете.

– Он не заразный? – шепотом спросил пожилой фельдшер Васильев, который все это время был в кабинете.

– Нет.

– А что же это? Чем он хворает, бедняга?

– Пока не знаю. Может, крайняя степень истощения. Но говорит он живо, соображает отлично. При такой тяжелой дистрофии возникают психические нарушения, астения, депрессия, психозы.

– Да уж, с головой у него все в порядке, – фельдшер хмыкнул, – шустрый, даже слишком. Сказки рассказывает, про аэроплан, про ворона. А вдруг и про возраст свой тоже наврал?

– Ну сколько ему может быть, как вы думаете?

Васильев на цыпочках подошел к кушетке, при тусклом свете стал вглядываться в лицо Оси. Во сне он больше походил на ребенка, чем на старика. Морщины разгладились, щеки и губы порозовели. Тень падала так, что не видно было седины и стариковской плешки на круглой голове.

– Неужели правда ему только одиннадцатый год? – спросил фельдшер.

– Да. Вряд ли больше. Но организм его изношен, как у семидесятилетнего старика.

– Господи, помилуй, сколько же ему осталось?

– Год, полтора. Сердце слабое. Как проснется, покормите еще раз и дайте побольше теплого сладкого питья.

– Михаил Владимирович, вы хотите его здесь оставить?

– Хочу, не хочу, но деваться ему пока некуда.

– Так ведь мест совсем нет, все койки заняты, – возразил фельдшер, – и его превосходительство узнают, будут возражать.

– Я не сказал, чтобы вы клали его в палату к раненым. Этого не нужно. Пусть ночует здесь, в моем кабинете. Принесите ему белье, подушку, зубную щетку, мыло, полотенце. А с его превосходительством я объяснюсь.

В вестибюле Михаил Владимирович увидел дочь. Таня дремала в углу, в кресле.

– Я же велел тебе взять извозчика и ехать домой.

Таня зевнула, потрясла головой, чтобы проснуться, и спросила сиплым, севшим голосом:

– А где Ося?

– Спит у меня в кабинете.

– Ты понял, что с ним?

– Боюсь, что да. Хотя это совершенно невероятно.

Москва, 2006

Ключи, перчатки, кошелек. Эти три предмета казались Соне заговоренными. Они всегда исчезали в самый неподходящий момент, когда надо было срочно выбегать из дома. Папа в таких случаях говорил: «Шишок, Шишок, поиграй и отдай!» – и волшебным образом все находилось, будто правда жил в тесной городской квартире капризный маленький домовой. Папу он слушался, Соню – нет.

Она металась по комнатам, по кухне, заглядывала во все шкафы и ящики. Перчатки пропали бесследно. Оставалась надежда, что Соня забыла их в машине. Кошелек валялся на полке в ванной. Ключи Соня взяла папины, они лежали в кармане его дубленки. В том же кармане Соня обнаружила мятую цветную картонку. Это была карточка гостя отеля «Кроун» в городе Зюльт-Ост, Германия.

«Зюльт, Зюльт», – повторяла про себя Соня, сбегая вниз по лестнице.

Ее старенький голубой «Фольксваген» стоял во дворе, занесенный снегом и безнадежно запертый с трех сторон чужими машинами. Соня посмотрела на часы и помчалась к метро, убеждая себя, что все к лучшему. Сейчас такие пробки, что можно застрять часа на полтора. А на метро она доедет за двадцать минут, к тому же не придется искать место для парковки.

На «Белорусской» неожиданно встал эскалатор. Сзади на Соню навалился дядька в камуфляжной куртке. От него несло перегаром. Соня ухватилась за поручень, чтобы не упасть на маленькую хрупкую бабушку. Не упала, но больно вывернула правую руку.

На платформе скопилось много народу.

– Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны, – сообщил радиоголос.

Стрельба в правом ухе продолжалась. Температуру Соня сбивала анальгином. Голова слегка плыла, коленки дрожали от слабости. Толпа повалила из поезда, сердитая дежурная вместе с милиционером быстро обходила вагоны. Из последнего выволокли сонного дядьку в тулупе. Милиционер нес его полосатый баул, дядька ворчал и тер глаза кулаками. Пустой поезд умчался со свистом. С эскалатора хлынул очередной поток пассажиров. Соню теснили все ближе к краю платформы, она решила не ждать, перейти на Кольцевую и доехать до «Кузнецкого моста» через «Краснопресненскую».

По лестнице на переходе медленно двигалась плотная толпа. Соне стало жарко. Она расстегнулась. Отлетела пуговица от дубленки. Это была уже третья потерянная пуговица, осталось всего две, а запасных не было. Соня с тоской подумала, что придется покупать и пришивать новые.

В голове продолжало пульсировать короткое глухое «Зюльт». Это было похоже на стук дятла.

На гостевой карточке стояли две даты, приезда и отъезда.

Получалось, что папа прожил на маленьком острове Зюльте, в отеле «Кроун», в номере 23 десять суток. То есть нигде больше в Германии он не был. Долетел до Гамбурга, оттуда на поезде по знаменитой насыпной дамбе отправился на остров, в город Зюльт-Ост. Зачем?

Когда она выскочила из метро и перебежала дорогу, в сумке заверещал мобильный.

– Соня, с вами все в порядке? Вы не заблудились? Не застряли в пробке? – услышала она голос Валерия Павловича Кулика.

– Я скоро, я уже близко, – ответила Соня.

В нескольких сантиметрах от нее резко затормозил и заигналил грязный «Форд». У Сони стукнуло сердце. Она только сейчас заметила, что перебегает на красный, машин полно и она посреди улицы. В два прыжка она добралась до разделительной полосы, чтобы дождаться зеленого.

– Я совсем рядом, – сказала она в трубку, – вот, я вижу, кафе «Грин».

– Так, Соня! Вы опять все напутали. Не «Грин», а «Григ», и не кафе, а ресторан. «Грин» это забегаловка. Не отключайтесь.

Кулик объяснял ей, как идти к ресторану, шаг за шагом, пока она не оказалась внутри.

– Чем могу помочь? – надменно спросил охранник-шкаф в безупречном костюме.

Вокруг был мрамор, живые цветы, картины в золоченых

рамах, бархатные кресла и зеркала. Гигантские, беспощадные зеркала, в которых отражалось все в подробностях. Дубленка, купленная пять лет назад на Савеловском рынке, пучки ниток вместо пуговиц. Плохо сидящие, но единственные приличные черные брюки. Коричневые сапоги в неистребимых разводах от соли зимних московских улиц. Пух белого свитера давно скатался комочками. Волосы следовало бы уложить феном, а лицо подкрасить. Но поскольку Соня почти никогда этого не делала, то и сейчас забыла. А зеркала напомнили.

Швейцар не хотел ее раздевать. Охранник говорил по телефону и как будто не слышал ее робкого «Меня ждут», стоял так, что она не могла его обойти. Из зала вышла высокая, феноменально красивая брюнетка, остановилась, принялась подкрашивать губы, искоса, неодобрительно посмотрела на Соню. Особенно не понравились ей коричневые облезлые сапоги под черными брюками.

Наконец появился Кулик, большой, мягкий. Соня заметила, что он сбрил остатки волос, стал откровенно лысым и расстался с очками, наверное, линзы вставил. Он был без пиджака, голубая рубашка туго обтягивала пузо. Он блестел, лоснился, улыбался и чувствовал себя здесь как дома.

– Рад вас видеть, Сонечка! А что бледная? Глазки красные? Ох, простите, простите, девочка, я все знаю, вы потеряли папу, сочувствую от всей души.

Он снял с нее дубленку, отдал швейцару. Тот подобо-

страстно заулыбался и принял из рук Валерия Павловича Сонино рыночное старье с почтением, достойным норковой шубы.

В зале свет был не таким ярким, и Соня слегка расслабилась. Кулик повел ее в самую глубину, где столики прятались в нишах за бархатными шторами.

– Сейчас я познакомлю вас с очень важным человеком, – шепнул он, – постарайтесь ему понравиться.

За столиком сидел мужчина лет сорока пяти. Светлые жидкие волосы зализаны назад, лицо неприятное, надменное. Грубые крупные черты, толстые бледные губы. Он встал навстречу Соне, пожал ей руку, слишком крепко, так, что пальцы заныли, улыбнулся, и улыбка вдруг удивительно преобразила его. Засверкали белые зубы, черты смягчились, стало заметно, что глаза у него ярко-голубые и вполне живые.

– Зубов, – коротко представился он.

– Вот, Иван Анатольевич, я привел вам самый лучший экземпляр, – сказал Кулик и отодвинул стул для Сони.

– Как вы себя чувствуете, Софья Дмитриевна? – спросил Зубов, откровенно разглядывая ее. – Кажется, вы приболели?

– Да, немного. Но теперь уже выздоровела. Спасибо. – Соня спряталась от его пристального взгляда, уткнувшись в меню.

– Возьмите форель, – посоветовал Кулик.

Когда заказ был сделан и официант ушел, Зубов спросил:

– Скажите, Софья Дмитриевна, кроме тех трех статей по апоптозу, которые висят в Интернете, у вас есть еще какие-нибудь работы на эту тему?

– Ее диссертация об этом, я же говорил вам, – ответил за Соню Кулик.

«У Зигфрида Ленца есть роман „Урок немецкого“, там действие происходит на острове Зюльт, – вдруг вспомнила Соня, совсем некстати. – Вторая мировая война. Нацистская Германия. Художник сослан на север, на остров Зюльт. Художнику запрещено рисовать, и начальник местной полиции обязан следить, чтобы он не брал в руки ни кисть, ни карандаш. Сын полицейского, маленький мальчик, втайне от отца навещает художника, они становятся лучшими друзьями. Вот почему слово „Зюльт“ мне знакомо. Я читала роман Ленца по-русски и по-немецки, он мне страшно нравился когда-то».

– Что такое васкуляризация? – низкий голос Зубова звучал слегка обиженно.

Соня вздрогнула. Оказывается, она говорила все это время, пыталась объяснить, над чем работает в последние пять лет.

– Иван Анатольевич занимается кадрами, он не биолог, а экономист по образованию, так что вы попробуйте обойтись без нашей заумной терминологии, – мягко напомнил Кулик.

У Сони пересохло во рту. Она залпом выпила полный ста-

кан минералки.

– Раковые клетки вырабатывают особый белок, ангиогенин, который вызывает образование капилляров, то есть васкуляризацию, – стала объяснять Соня, – опухоль как бы притягивает к себе новые растущие сосуды, через них ест и дышит, становится неотъемлемой частью живого организма, причем самой сильной и агрессивной его частью. Еще в середине семидесятых удалось определить полную аминокислотную последовательность этого белка, найти ген, который отвечает за его синтез. Но на этом этапе исследования зашли в тупик.

Зубов не сводил с Сони ярко-голубых глаз. Нельзя было понять, слушает он или просто изучает Соню. Глаза ничего не выражали. Соне хотелось верить, что слушает. Иначе зачем просил рассказать? Кулик скучал, все оглядывался, ждал, когда принесут закуски.

– Если я вас правильно понял, вы сейчас говорите об онкологии? – уточнил Иван Анатольевич. – Но при чем здесь самоубийство клетки?

– Рак – одна из форм самоубийства живой системы, на макроуровне, то есть на уровне всего организма. Раковая клетка практически не отличается от одноклеточных, ведет себя так же, как бактерии. По идее организм должен реагировать на нее мощной иммунной атакой.

– Не самая аппетитная тема, – хмыкнул Кулик и убрал со стола мобильник, чтобы официант мог поставить перед ним

тарелку с крабовым салатом. – Соня, прервитесь и обратите внимание на карпаччо.

«Правда, что же я все болтаю? – спохватилась Соня. – Им, кажется, это совсем неинтересно».

– Валерий Павлович сказал, вы свободно владеете английским и немецким. – Zubov продолжал сверлить Соню взглядом, при этом ловко подцепил маслинку и отправил в рот.

– Немецкий у меня слабоват, я им редко пользуюсь. Английский в активе.

– Детей у вас нет, мужа тоже. – Zubov поднял на вилке прозрачный ломтик сыра и, прищурившись, взглянул сквозь него на Кулика.

– Да, – сказала Соня, – я одна. Мама с новым мужем живет в Сиднее.

– У нее был замечательный папа, но он умер совсем недавно, – сказал Кулик.

– Соболезную, – механически кивнул Zubov, – то, что вы одна – это дополнительный плюс. Для вас не составит проблемы переехать на год в Германию. Вы там бывали?

– Нет.

– Придется вспомнить немецкий. – Прожевав сыр, Zubov опять улыбнулся Соне. – Скажите, а откуда такая страсть к биологии? У вас в роду были биологи?

– Нет.

– Вы уверены?

– В наше время мало кто знает о своих прадедушках, –

заметил Кулик, – люди теряют корни, а напрасно. Вот я, например, совсем недавно выяснил, что мой предок со стороны отца был знаменитым медиумом и поэтом. Модное сочетание для начала двадцатого века. В эзотерическом альманахе «Оттуда», который выходил в Петербурге с девятьсот четвертого по девятьсот восемнадцатый, я нашел статьи, стихи и даже фотографию Степана Кулика, моего замечательного предка.

– Я дальше бабушек и дедушек ни о ком не знаю, – сказала Соня.

– Ну и кем же они были? – спросил Зубов.

– Мамин отец всю жизнь проработал бухгалтером в Министерстве сельского хозяйства. Этого дедушку я помню. Папин был летчик, но он погиб еще до папиного рождения.

Соня принялась наконец за карпаччо. Розовые ломтики лосося оказались потрясающе вкусными, она давно ничего подобного не ела, зажмурилась от удовольствия.

– Вкусно? – спросил Зубов.

– Да, очень.

– Розы вам понравились?

Соня поперхнулась, закашлялась. Кулик налил воды, протянул ей стакан. Она жадно выпила, кашель прошел.

– Мы никак не могли вам дозвониться. – Зубов одарил Соню очередной улыбкой. – Мы знали, что у вас день рождения, круглая дата. У нас принято поздравлять наших сотрудников, дарить подарки. Вы пока еще не с нами, но, надеюсь,

очень скоро станете полноправным членом нашей дружной корпорации.

Москва, 1916

Ответное письмо из Харькова от доктора Лямпорта пришло довольно скоро. Доктор сообщил, что действительно пользовал мальчика Иосифа Каца в течение пяти месяцев. Туберкулез, рак, дистрофия, малокровие исключены. Вероятно, ребенок страдает какой-то редкой разновидностью детской сухотки. Впрочем, это само по себе диагнозом не является, ибо под старинным определением «детская сухотка» скрываются многие недуги, медицине еще не известные.

Заболевание не наследственное, ничего подобного ни у кого из родственников не наблюдалось. Остальные дети в семье практически здоровы.

«Правда, самой семьи теперь нет, — *писал Лямпорт.* — В июне прошлого года случилось несчастье. Родители мальчика, его бабушка и старший брат погибли при пожаре на даче. Полиция до сих пор не знает, был это несчастный случай или поджог. Иосиф в это время гостил в Одессе у замужней старшей сестры (я прописал ему морские купания). Каким образом ребенок оказался в Москве, на паперти, я не знаю. Найти других родственников мне пока не удалось. Я справлялся у полицмейстера, он сказал, что в полицию Харькова и Одессы по поводу пропажи мальчика Иосифа Каца никто не обращался. Сестра с мужем из Одессы уехали, куда — неизвестно».

Ося жил в госпитале третью неделю. За это время ему сделали все анализы, его осмотрели разные специалисты. Все вслед за Лямпортом говорили о детской сухотке. Михаил Владимирович свозил Осю на прием к лучшему педиатру Москвы профессору Грушину. Именно Грушин произнес слово, которое давно крутилось в голове у Михаила Владимировича: прогерия. Весьма редкое и загадочное страдание неизвестной этимологии. Ребенок рождается здоровым. Но организм его изнашивается с удесятеренной скоростью, как будто за день он проживает месяц, за месяц – год. Он стремительно стареет, оставаясь ребенком и умирает в одиннадцать-двенадцать лет глубоким стариком.

Как это лечить, никто не знает.

Ося читал Конан Дойля и Купера, играл в шашки с фельдшером Васильевым, рисовал аэропланы, подводные лодки, дирижабли, разыгрывал перед сестрами-монахинями сцены из «Двенадцатой ночи» и «Короля Лира», уговаривал Таню сводить его в Художественный театр.

– Если вы боитесь, что своим видом я распугаю публику, могу нарядиться дамой, надеть шляпу с густой вуалью. Никто не заметит, что я седой и сморщенный. Я буду дама-карлица, загадочная и прелестная. Карлицам ведь не запрещено посещать театры?

– Хорошо, после Пасхи обязательно сходим в Художественный театр, – обещала Таня.

Она просила отца забрать Осю из госпиталя домой.

– Он будет жить в моей комнате. Какой смысл держать его здесь, раз лечить все равно невозможно?

Михаил Владимирович возражал. У Оси слабое сердце. В госпитале есть все необходимое для экстренной помощи. На самом деле он просто боялся, что Таня слишком привяжется к мальчику, он и сам успел привязаться к Осе.

– Почему ты считаешь, что нельзя любить того, кто может умереть в любую минуту? – однажды спросила Таня.

– Потому что когда эта минута приходит, больно нестерпимо, – ответил профессор.

– Эта минута приходит всегда, рано или поздно, и значит, любить можно только инфузорий, бактерий, да крыса Гришку Третьего.

– Еще четырех крыс, двух морских свинок, одного кролика, – чуть слышно пробормотал Михаил Владимирович и тут же принялся напевать себе под нос «Утро туманное».

– Что? – Таня резко остановилась и заговорила шепотом, хотя слышать их не мог никто, они шли по пустому Тверскому бульвару. – Ты продолжаешь опыты? Тебе удалось? Почему же ты молчал?

– Потому что говорить пока не о чем. Я не уверен в результатах, слишком мало времени прошло, но даже если что-то получается, то лучше молчать. Ты сама это отлично понимаешь. – Михаил Владимирович обнял дочь за плечи. – Ты видишь, что происходит с Агапкиным? Он близок к помешательству. У него зверушкидохнут.

– Ты рассказал ему все?

– Я указал ему путь, но комментировать каждый свой шаг не собираюсь, тем более я сам еще ни в чем не уверен.

– Ты ни разу не делал это при нем, вместе с ним. Почему?

– Да, правда, почему?

– Погоди, папа, но он же не вылезает из лаборатории.

– Он спит иногда. Мне этого времени как раз хватает. Знаешь, что самое странное? Он моих помолодевших зверушек не замечает. Я ничего не говорю ему, но и не скрываю. Он как будто ослеп.

– Правда, ослеп. – Таня нахмурилась и, помолчав немного, вдруг громко прошептала: – Но я тоже не видела ни одного животного со следами трепанации. Григорию Третьему ты вскрывал череп. Да, зажило все удивительно быстро, но ведь не на следующий же день, на голове была повязка почти неделю.

– Трепанация, кажется, не нужна. Все проще, но одновременно и сложнее в тысячу раз.

– Как?

– Если бы я знал – как? Если бы понимал – почему? Семь опытов из десяти закончились успешно, без всякой трепанации. Впрочем, надо еще долго наблюдать, я не уверен. Вдруг они возьмут да и передохнут, или Федор Федорович доберется до них и вскрыет череп. Может, предупредить его, чтобы он их не трогал?

– Выгони его, – сказала Таня после долгой паузы, – при-

гласи доктора Потапенко или Маслова. Они с удовольствием с тобой поработают. Агапкин неприятный какой-то, к тому же неврастеник.

– Ох и строга ты, матушка. – Профессор улыбнулся и покачал головой. – Надо быть снисходительней, ты ведь собираешься стать лекарем. Давай-ка зайдем в кондитерскую, ужасно хочется съесть лимонное пирожное и выпить кофе.

– Папа, я тебя ни о чем больше пока не спрашиваю, – сказала Таня, когда они сели за столик, – я правильно делаю?

– Спрашивай, не спрашивай, я даже самому себе пока не решаюсь ответить на многие вопросы. Боюсь, не верю, не понимаю. Но остановиться не могу. Это такая зараза, вроде наркотика. И хватит об этом.

– Ладно. – Таня пожала плечами и принялась листать меню.

Подошел официант. Михаил Владимирович заказал себе сразу три пирожных, кофе со сливками, рюмку ликера. Таня долго думала, выбрала песочную корзиночку с фруктами, чашку какао и попросила официанта, чтобы отправили с посыльным большую яблочную шарлотку в госпиталь.

– Ося просил, – объяснила она отцу, – он любит. А забрать его все равно придется. Того и гляди, нагрянет превосходительство, ты знаешь, что будет.

– Что? – Михаил Владимирович изобразил комический испуг. – Генерал потребует моей отставки? Но я тоже генерал, ты забыла?

– Он жандарм, а ты врач.

– Вот именно. Кто важней в госпитале, как ты считаешь?

Таня насупилась, отвернулась, принялась рассматривать репродукции на стене кондитерской. Они были дешевые, бу-
мажные, но в толстых сусальных рамах, с претензией на роскошь. Наконец она произнесла чуть слышно, не глядя на отца:

– Ося еврей.

– Вот это новость! Спасибо, я не знал.

– Не смешно, папа! Превосходительство лютый антисемит.

– Обычно это связано с хроническими запорами. Хорошо помогают клизмы и английская соль.

Принесли кофе и пирожные. Михаил Владимирович ел с аппетитом, а Таня не могла. Кусок застревал в горле. Она постоянно видела перед собой сморщенное детское лицо, беззубую улыбку. Она слышала хриплый слабый шепот, как тогда, на паперти: помоги, помоги! Огромные карие глаза смотрели на нее с какой-то вечной тоской, вне возраста и времени.

Москва, 2006

Когда вышли из ресторана, Кулик нежно попрощался с Соней, расцеловал ее, обнял. Зубов подвез ее домой на черном «Мерседесе» с шофером. По дороге задавал самые невинные и приятные вопросы: о детстве, о том, как и почему она увлеклась биологией.

Во дворе на лавочке курил Нолик.

– Привет. Я же вроде бы дала тебе ключи, – сказала Соня.

– Да, я тоже думал, что они у меня есть, но оказалось, это ключи от машины.

– Странно. Совсем ничего не помню.

Соня вместе с Ноликом стряхнула снег со своего «Фольксвагена». Чтобы опять не оказаться запертой, заранее переставила машину. Уже через три часа надо было отправляться в аэропорт, встречать маму.

– Ну что, как пообщалась с Селезнем? – спросил Нолик, когда они вошли в квартиру.

– С Куликом. Мне, Нолик, предложили работу в Германии. Там открылся филиал Института экспериментальной биокибернетики. Они набирают международную группу молодых ученых. Кстати, розы именно оттуда. И.З. – Зубов Иван Анатольевич, он у них занимается подбором кадров. Кулик познакомил меня с ним в ресторане. Видел «Мерседес»? Вот, это его «Мерседес», И.З.

– Круто. Поздравляю. А что ты тогда такая кислая? Платить будут в евро?

– Нет. В украинских гривнах. Как я скажу об этом Биму? Как я уеду на год в чужую страну? У меня нет загранпаспорта. Я боюсь самолетов. Мне не понравился этот Зубов, несмотря на его розы и неотразимую улыбку. Он какой-то не совсем натуральный. Знаешь, из тех людей, которым, если что-то надо от тебя, они сладкие-сладкие, но если ничего не надо или, не дай Бог, ты встанешь на пути, они тебя даже не перешагнут – раздавят.

– Перестань ныть. Никто тебя пока давить не собирается. Розы, ресторан, перспектива отличной работы. Что ты накручиваешь себя? Скажи, ресторан был хороший? Еда вкусная?

– Да, очень. А что?

Соня, морщась, пыталась расстегнуть молнию сапога. Молния заела, и это Соню серьезно огорчило, поскольку никакой другой зимней обуви у нее не было. Нолик между тем давно разулся, снял куртку и сидел на корточках у открытого холодильника. Холодильник был пуст, и это серьезно огорчило Нолика.

– Когда я голодный, я начинаю чувствовать всякие чувства и мыслить всякие мысли, – изрек он своим бархатным рекламным басом.

– Пожалуйста, помоги мне расстегнуть сапог, – попросила Соня.

Нолик дернул слишком сильно, язычок молнии отломился. Не раздумывая, Нолик стянул наполовину расстегнутый сапог с Сониной ноги и вытер испачканные руки о джинсы.

– Гилозоический синдром, – сказала Соня.

– Что?

– Болезнь у меня такая.

– Это что-то новенькое. Тебе мало среднего уха? – Нолик потрогал ее лоб. – Температуры нет.

– Нет, – согласилась Соня, – и сапог других нет, и дубленки, и пуговиц запасных. Еды нет в холодильнике. Эскалатор останавливается, поезд дальше не идет, пропадают ключи и перчатки, кончаются деньги, рвутся колготки, убегает кофе. Гилозоизм, Нолик, это направление в философии, согласно которому все вокруг нас живое, одушевленное. Все, понимаешь? Вот эта табуретка, мой драный сапог, отлетающие пуговицы, эскалатор, поезд, платформа в метро, само метро, холодильник, который ты не закрыл. Оно все живое, и оно все сейчас меня не любит.

– Ну, положим, холодильник должен меня не любить, а тебя за что? – пробормотал Нолик, озадаченно хмурясь. – Слушай, что за бред?

– Это не бред. В это верили не самые глупые люди. Гете, Джордано Бруно, Дидро. Я не верю, но у меня синдром.

– А денег совсем нет? – осторожно спросил Нолик.

– Есть папина заначка, но я не хочу ее трогать. Я даже не знаю, сколько там.

Нолик резко встал, ушел на кухню. Соня слышала, как он возится, хлопает дверцей холодильника, сопит, включает воду.

– Я нашел пельмени. Конечно, нет ни масла, ни сметаны, но есть горчица, – проворчал Нолик, когда она пришла к нему на кухню. – Слушай, Софи, тебе не кажется, что к приезду твоей мамы неплохо запастись какой-нибудь едой? Завтракать нечем, даже кофе кончился. И не пора ли купить тебе новые сапоги?

– Ты намекаешь на папину заначку? – спросила Соня.

– Я не намекаю. Я говорю прямо и честно. Тебе, Софи, тридцать лет. Для младенчества это слишком много, для старческого маразма слишком мало. – Нолик принялся ожесточенно трясти солонкой над кастрюлей. – Твои сапоги давно надо выкинуть. Дубленку тоже. Очнись, Софи, посмотри на себя в зеркало.

– Ты сейчас пересолишь пельмени и останешься без ужина. – Соня взяла со стола пачку его дешевых сигарет и закурила. – Хочешь сказать, я лахудра?

– Нет, Софи. Ты не лахудра. Ты пофигистка. Тебе все пофигу, кроме твоей биологии.

– Неправда. Я музыку люблю, старый негритянский джаз, бардовские песни, оперу «Евгений Онегин». Я очень много читаю не только специальной литературы, но и художественной, я даже фильм какой-то недавно смотрела по телевизору, забыла, как называется. А то, что я шмотки себе не по-

купаю и не пользуюсь косметикой, так это не принцип, это нужда, Нолик. Я работаю в бюджетном институте. Знаешь, какая зарплата у старшего научного сотрудника? Три с половиной тысячи рублей. У папы было больше, пять тысяч. Да, он занимался с учениками, но он не брал взяток. Нам хватало на квартплату, на еду, мы купили машину, два хороших дорогих ноутбука, ему и мне. Конечно, я могла бы одеваться приличней, но для этого надо тратить кучу времени и сил на магазины. Ничего мне не идет, и моего размера никогда нет. Продавщицы либо приставучие, либо надменные. В примерочных почему-то всегда такое освещение, такие зеркала, что хочется завывать от тоски. Конечно, есть женщины, которые во всех зеркалах, при любом освещении смотрят на себя с восторгом и нежностью, но я, Нолик, к этой счастливой породе не принадлежу. Я ненавижу магазины.

У Нолика рот был набит пельменями, он энергично жевал, чтобы поскорее ей ответить. Она не сомневалась, что он ответит резко, но, прожевав, Нолик подобрел, вальяжно закинул ногу на ногу, закурил.

– Софи, я, кажется, впервые за последние лет десять услышал от тебя такой длинный монолог, без единого биологического термина. Ты ненавидишь одежные магазины. Это понятно. А к продовольственным ты как относишься?

– Ладно, ты прав. Надо взять денег из папиной заначки, сходить в супермаркет.

На папином столе все еще были разложены старые фото-

графии. В глубине верхнего ящика Соня обнаружила две тысячи долларов и тридцать тысяч рублей. Там же лежал папин партийный билет, комсомольский билет бабушки, ее посмертные ордена в коробочке, какие-то грамоты с колосьями и портретами Ленина, красная кожаная папка с шелковыми лентами. Соня вытащила из рублевой пачки пять тысяч. Несколько секунд смотрела на красную папку, взяла ее в руки, но раскрывать не стала, положила на место.

Нолик ждал ее в прихожей, уже одетый. Соня попыталась натянуть полурасстегнутый сапог. Не получилось. Пришлось надеть кроссовки.

Супермаркет был в двух кварталах от дома. Чтобы ноги не успели замерзнуть, Соня побежала. Нолик за ней не поспевал, ворчал и злился. Пока катили тележку вдоль полок, он опять подобрел, заметив, что Соня лично для него положила в тележку маленькую плоскую бутылку коньяка. Как только они вернулись с полными пакетами, он ее открыл, налил себе рюмочку, закусил шоколадкой, а потом уже снял куртку и ботинки. Соня ушла в папин кабинет, стала собирать фотографии.

«Конечно, Нолик ошибся. Девушка на снимке тридцать девятого года просто очень похожа на бабушку Веру. Но это не может быть она».

Соня достала с книжной полки портрет бабушки, вытащила старый семейный альбом, красную кожаную папку, развязала ленты. В папке лежал пожелтевший, мятый тетрадный

листок в клетку, исписанный чернильным карандашом быстрым косым почерком. Листок был запаян в пластик. Вместе с ним лежало несколько фотографий бабушки Веры, папиной мамы. Одна из них оказалась точно такой, как та, на которой стояла дата «1939», но в два раза меньше. Кто-то аккуратно отрезал изображение молодого человека.

Москва, 1916

В госпитале все бегали и суетились, ждали его превосходительство, инспектора госпиталей. Бывший жандарм, генерал, граф Петр Оттович Флосельбург старательно демонстрировал свой русский патриотизм, поскольку был немцем и боялся, что его заподозрят в сочувствии противнику или, не дай Бог, в шпионаже.

Должность свою он получил по протекции Распутина, пользовался теплым покровительством ее величества. Посещая очередной госпиталь, он прежде всего проверял, в каждом ли помещении есть красный угол с иконами, теплится ли там лампада, довольно ли в ней масла и какого оно качества. Врачей, фельдшеров, сестер милосердия он поучал, что главное в их деле не столько облегчение физических страданий, сколько воспитание страждущих в духе нравственной чистоты и христианского смирения посредством чтения вслух в солдатских и офицерских палатах душеспасительной литературы.

К раненым он относился более или менее терпимо. Но к тем больным, которые не имели счастья получить на фронте пулевое или осколочное ранение, а подцепили дизентерию, тиф, туберкулез, заработали радикулит в окопной сырости, язву желудка от походных кухонь, граф презирал и считал симулянтами.

В госпитали граф любил нагряться неожиданно, как лиса в курятник. Точная дата визита превосходительства стала известна всего за сутки, и то случайно. Накануне чиновник министерства, приятель главного врача, шепнул ему за вистом, предупредил.

Всю ночь в коридорах шумно работали полотеры, не давали раненым спать. Еще до рассвета сестер отправили гладить белье. Не хватало матрасов. Со склада привезли старые чехлы. Их поспешно штопали и набивали соломой.

Раненых, лежавших в коридоре, следовало разместить по палатам. Стали сдвигать койки, и несколько тут же сломались. Кинулись искать столяра. Нашли, но он был пьян. Накануне вечером праздновал день ангела своей супруги, причем в гостях у него были три приятеля, госпитальных санитаров, которые тоже не успели протрезветь к утру. К обычно-му госпитальному букету запахов примешался дух перегара. Из кухни воняло пригоревшей кашей, вонь не выветривалась, а нос у превосходительства был весьма чуток. Главный врач сорвался, схватил за локоть кладовщика, тряс его и кричал так, что вспотел. Бедняга кладовщик не придумал ничего лучшего, как послать старика сторожа в ближайшую галантерейную лавку за одеколоном, чтобы опрыскать все помещения. Вскоре дышать в палатах и коридорах стало невозможно. Одеколон был самый дешевый.

Михаил Владимирович столкнулся с Таней на лестнице. Она неслась вниз со стопкой историй болезни, при этом го-

лова ее была повернута назад, она кричала сестре Арине, стоявшей сверху:

– Еще два травматических невротика из пятой офицерской!

Профессор поймал дочь на лету. Щеки ее пылали, над верхней губой выступили капельки пота.

– Что ты бегаешь?

– Арсений Кириллович договорился в Обуховской, они возьмут наших невротиков, у них места есть!

– Что ты бегаешь? – повторил профессор и слегка потряс Таню за плечи.

– Так ведь превосходительство... – растерянно прошептала Таня, как будто просыпаясь.

– Марш ко мне в кабинет! Умойся, выпей валерьянки и посиди там с Осей. – Михаил Владимирович взял у нее из рук карточки. – Я с этим разберусь. Иди!

– Но, папа, неудобно, все готовятся, бегают. Как же я буду сидеть?

– Все сходят с ума. Это эпидемия, Таня. Острый административный психоз. Мыть полы и менять матрацы надо по необходимости, а не по случаю графских визитов.

– Вы, Михаил Владимирович, потому такой смелый, что вас на фронт не отправят, – прозвучал рядом сиплый голос терапевта Маслова.

– Почему? Очень даже могут. Всю японскую я был на фронте.

– Тогда – да, а сейчас – ни за что. Вами, Михаил Владимирович, очень скоро заинтересуются на высочайшем уровне, вами дорожить будут, как перлом бесценным, как жемчужиной. Это приятно, но и опасно. Помните, доктор Розен рассказывал об одной известнейшей особе, у которой на коже умирает жемчуг? – Маслов перешел на шепот. – На ночь фамильные жемчуга надевают на простую бабу, чтобы ожили, пропитались здоровым крестьянским потом.

– О чем вы, Валентин Евгеньевич? – изумленно спросила Таня.

– Иди, не стой здесь! – тихо сердито прикрикнул на нее профессор.

– Вы, Танечка, все равно не поймете, о чем я. Да вам и не надо. Но батюшка ваш меня отлично понял. – Маслов протянул профессору толстую, свернутую трубкой газету и побежал вверх. – Пятнадцатая страница, новости науки. Я там для вас карандашом отметил! – крикнул он, перегнувшись через перила.

Таня взяла у отца газету. Это был свежий номер «Московского наблюдателя». Отчеркнутая карандашом заметка называлась «Омоложение возможно?». Таня читала быстрым свистящим шепотом, Михаил Владимирович хмуро слушал.

«Профессор медицины Свешников М.В. близок к осуществлению древней мечты человечества о возвращении молодости и продлении жизни. Наконец решением этой животрепещущей проблемы занялись

не только темные шарлатаны, колдуны и алхимики, а представители серьезной академической науки. В результате особого терапевтического воздействия несколько дряхлых подопытных животных обрели вторую юность. Среди них четыре крысы, три собаки и человекообразная обезьяна. Все они живут в домашней лаборатории профессора и, по свидетельству очевидцев, чувствуют себя отлично. Свой метод профессор Свешников держит в строжайшем секрете, на вопросы нашего корреспондента отвечать отказался. Однако из достоверных источников известно, что скоро будут проводиться опыты на людях».

Под заметкой стояла подпись: Б. Вивариум.

Когда Таня закончила читать, Михаил Владимирович уже не хмурился, а тихо смеялся и сквозь смех произнес:

– Завтра же подам на них в суд. Пусть этот Б. Вивариум выплатит мне штраф в размере стоимости омоложенной человекообразной обезьяны.

Внизу послышался топот, по лестнице быстро поднялись несколько жандармских офицеров. Накал суеты и беготни достиг высшей точки, стало известно, что госпиталь сегодня посетит не только граф, но и Ее Императорское Величество вместе с великими князьями. Персоналу было приказано вести себя смирно, заниматься своими обычными делами, лечить раненых, не толпиться в проходах, не глазеть, не кричать «ура» и разными глупыми просьбами высочайших особ не беспокоить.

Главный врач по заранее известному списку перечислил всех, кто вместе с ним встретит высоких гостей у входа. Остальных попросил разойтись по палатам. Первым в списке стояло имя профессора Свешникова, далее три заслуженных врача, чином не ниже полковников. Из сестер – две старые монахини и Таня.

– Много народу быть не должно, – объяснил главный врач, – ее величество толпы не любит, и сразу будет сделано замечание, что наши раненые остались без присмотра.

Удостоенные чести встречать высоких гостей вышли на крыльцо. Утро было холодным и ясным. Но к полудню по-чернело небо, поднялся сильный ветер, он трепал полы белых халатов, от него слезились глаза. В маленькой зябнувшей толпе звучали тихие разговоры.

– Ее величество о наших раненых более нас беспокоится, ночами не спит, только о них и думает.

– Ну, положим, ночами она по другой причине не спит.

– Прекратите, как вам не стыдно!

– Разве я сказал что-то неприличное?

– Принесла ее нелегкая, прости Господи!

Наконец послышался топот копыт и рев автомобильных моторов. В открытые ворота въехали конные офицеры царского казачьего конвоя. За всадниками медленно вкатился гигантский автомобиль, похожий на старинную карету. Выскочил шофер весь в коричневой коже, распахнул пассажирскую дверцу.

Первым появился граф, маленький, круглый, в генеральской шинели. Потом одна за другой две девушки в форме сестер милосердия, в накинутых сверху скромных шубках. Великие княжны Татьяна и Ольга показались Тане милыми и вовсе не царственными. На юных темнобровых лицах лежал отпечаток привычного смущения и усталости от официальных церемоний, от того, что опять все глаза устремлены на них, их разглядывают, изучают с любопытством и равнодушием.

Следом из автомобиля вылезла крупная дама, одетая также в сестринскую форму.

Официальные портреты ввали не меньше злых карикатур и скабрёзных картинок. Врала даже беспристрастная кинохроника. Живая императрица Александра Федоровна ничего общего не имела с образом мистической фурии, немецкой шпионки, сумасшедшей любовницы грязного мужика.

Она прихрамывала. У нее были тонкие синеватые губы и больные, тревожные глаза. Лицо ее было одновременно красиво и жалко. В нем сочетались монашеское смирение и жесткость, капризность. Неприятно, вроде патоки с солью.

«Как тяжело, как невыносимо ей живется, – подумала Таня, – как страшно быть ею, с этой хромотой и тихой истерикой в глазах. О ком еще из царской семьи говорилось и писалось столько мерзостей? Если бы она правда была злодейка, все бы боялись ее и молчали».

– Папа, это у нее на коже умирает жемчуг? – шепотом, на

уху, спросила Таня.

Михаил Владимирович молча кивнул.

Императрица каждому поклонилась, улыбнулась. Врачи целовали ей руку, с сестрами она обменивалась рукопожатиями. Она говорила с легким немецким акцентом, и это раздражало. Таня вдруг вспомнила, что современники отмечали и у Екатерины II акцент, но их это, наоборот, трогало, умиляло. Немка, а как старается быть русской, как о России печется.

– Профессор Свешников Михаил Владимирович. Рада вас видеть. Как ваши изыскания в биологии? – Александра Федоровна в очередной раз улыбнулась, и вблизи ее улыбка выглядела фальшиво. Губы растягивались, но взгляд оставался тревожным. Глаза беспокойно блуждали и никак не встречались с глазами собеседника.

– Ваше величество, мне сейчас не до опытов. Война, – ответил Михаил Владимирович.

Процессия медленно шла по коридорам, в палатах ее величество и их высочества подходили к раненым, разговаривали с ними тихо и участливо. Таня вдруг заметила, что матушка Арина умильно всхлипывает, и не только она, но все врачи и сестры, которые несколько минут назад обменивались презрительными репликами о высокой гостье, сейчас смотрят ей в рот, ловят каждое ее слово, и кто-то стал ниже ростом, и даже у мужчин глаза подернулись трепетной влагой. Только отец ведет себя естественно и просто. Разгова-

ривает с царицей тем же тоном, что с коллегами врачами, с ранеными, с санитарями.

– Михаил Владимирович, кажется, это ваша идея – держать раненых на холоде? – вдруг спросила Александра Федоровна.

– Ваше величество, о том, что при низких температурах сужаются сосуды, уменьшается кровотоечение и мозгу требуется меньше кислорода, знали еще древние греки, римляне и народная медицина.

Но императрица уже не слушала, заговорила с сестрой Ариной, потом с графом. Поднялись на следующий этаж, подошли к очередной палате. Это была маленькая комната, всего на две койки. Там лежали два тяжелых, с гнойными осложнениями. Дверь была приоткрыта. Главный врач хотел провести процессию мимо, но ее величество остановилась, улыбнулась и приложила палец к губам.

Из-за двери звучал сиплый детский голос:

Не удержать любви полета:
Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.

А он скитается в пустыне —
Седого графа сын побочный,
Так начинается лубочный
Роман красавицы-графини.

Императрица опередила всех, открыла дверь и вошла.

В узком пространстве между койками стоял Ося, седой, истощенный ребенок. На пергаментном лице горели огромные карие глаза. Тонкие, как ветки, руки взлетали, жестикулируя в такт стихам. На койках лежали раненые под капельницами, в бинтах. Увидев пожилую женщину в привычной для него форме сестры милосердия, Ося кивнул, улыбнулся и продолжил читать еще более выразительно:

И в исступленьи, как гитана,

Она заламывает руки.

Разлука. Бешеные звуки

Затравленного фортепьяно.

— Кто это? — панически грозным шепотом спросил граф.

— Это Мандельштам, — ответил Ося, — молодой поэт, пока не очень знаменитый, но лет через десять его узнает вся Россия, а через пятьдесят — весь мир, вот увидите. Он мой тезка, его тоже зовут Осип. И он тоже еврей, как я. Отличные стихи, правда?

Москва, 2006

Сонин папа, Дмитрий Николаевич Лукьянов, не помнил свою мать. Она погибла в 1942-м, когда ему было два с половиной года. Ей посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, ее именем назывались улицы, школы и пионерские дружины. Дмитрий Николаевич Лукьянов уже в раннем детстве знал, что он не просто мальчик, а сын знаменитой разведчицы-партизанки, которая совершила подвиг, прошла страшные пытки, никого не выдала и была повешена фашистами.

Один заслуженный художник написал маслом огромную картину «Казнь Веры». Опушка березовой рощи. Виселица, сколоченная из бревен. Девушка в рваном платье, босая, с длинными светлыми волосами стоит на ящике. Палач в нацистской форме накидывает ей петлю на шею. Вокруг фашисты. Девушка смотрит прямо на зрителя. Куда ни отойдешь, она все равно смотрит.

Лицо Веры было срисовано именно с той фотографии, которая стояла за стеклом на книжной полке.

В 1949 году, когда Сониному папе исполнилось десять лет, его принимали в пионеры в Музее боевой славы, и там он впервые увидел картину.

– Смотрите, ребята, это знаменитая Вера Лукьянова, мама нашего Димы, – сказала учительница.

– Димка, ой, ужас! Твою маму фашисты вешают! – крикнула какая-то девочка.

Дима бросился к полотну и стал бить кулаками по нарисованным фашистам, повторяя:

– Мама! Мамочка! Гады! Не убивайте мою маму!

В красной кожаной папке хранился запаянный в твердый пластик серо-желтый тетрадный листок в клетку, на котором чернильным карандашом было написано:

«Милый, любимый мой сынуля Димочка!

Ты еще совсем маленький и не скоро это прочитаешь. Никогда не забывай меня. Расти здоровым, сильным. Обязательно учись, читай умные книги, всегда оставайся честным человеком, не пугайся жизненных трудностей. Все поправимо, кроме предательства и смерти. Люби нашу великую советскую Родину, знай, твоя мама погибла за твою свободу, за твое, сыночек, будущее. Я так сильно люблю тебя, мой маленький, что и когда меня не станет, я все равно буду рядом. Мне уже не больно и не страшно. Светает. Целую тебя, Димочка, в глазки, в лобик. Твоя мама».

Письмо чудом сохранилось и дошло до адресата, до маленького мальчика, который уехал с бабушкой из Москвы в Томск в августе 1941-го.

Когда началась война, Вера училась на пятом курсе университета, на филологическом факультете. Она хорошо знала немецкий. Поступила в разведшколу, была заброшена на парашюте во вражеский тыл, в Белоруссию. Сначала воевала

в партизанском отряде, потом ее устроили машинисткой в немецкую комендатуру в Гродно. Фашисты арестовали очередного связника, он выдал Веру.

Письмо сохранила девушка, сидевшая с ней в одной камере. Девушка была местная, ее мать выкупила ее у полицей-охранника за две бутылки самогона и шмот сала. После войны она разыскала остатки Вериной семьи, мать и сына.

В самые тяжелые моменты жизни папа доставал письмо, читал вслух. То есть он не читал, просто держал в руках и произносил текст наизусть. Соня вдруг вспомнила, как на следующий день после возвращения из Германии опять застала папу с письмом в руках.

– Софи, нам через двадцать минут выезжать. Я думал, ты заснула. – Нолик подошел сзади, стал разглядывать фотографии через Сонино плечо. – Слушай, а этот, он что, твой дед? Лукьянов? Кстати, кто он был?

– Не знаю. Какой-то летчик. Они даже пожениться не успели, он сгорел в самолете еще до войны. Лукьянова – бабушкина фамилия, не его.

– Так это он или нет?

Соня покачала головой, пролистала альбом, ткнула пальцем в фотографию молодого человека лет двадцати, круглолицего, курносого.

– Вот он. Они жили в одной коммуналке на Сретенке. Он погиб, когда она была еще беременна, и даже не успел узнать, что у него родился сын.

– Погоди. – Нолик часто, недоуменно моргал. – Тогда кто же этот лопоухий, с ребенком на руках?

– Понятия не имею.

Нолик заметил на столе, в стакане для карандашей, маленькую лупу, взял снимок у Сони из рук и пробормотал:

– Какая странная у него форма.

Нолик с детства увлекался военной историей, собирал солдатиков, прочитал уйму мемуаров, исследований, знал все об оружии, знаменах, орденах, погонах.

Он разглядывал снимок минуты две и вдруг прошептал:

– На нем немецкая форма. Софи, этот парень – он лейтенант СС!

Москва, 1916

– Чем болеет это дитя? – спросила Александра Федоровна.

Она обращалась к профессору Свешникову, но он не успел открыть рот. За него ответил Ося:

– Дитя постарел от ужаса, путешествуя над Атлантикой на воздушном шаре. Запасы питьевой воды подходили к концу. Жирные чайки кружили рядом, воровали мои сухари и вяленую говядину. Сытно пообедав моей провизией, они собирались на десерт съесть меня. Я пытался объяснить, что я худой и невкусный, но уговоры не помогали. Мне пришлось разрядить в них мой револьвер, хотя я противник убийства. Ветер дул с моря вверх таким образом, что мой шар поднимался все выше, днем солнце сжигало мою кожу, и она сморщилась. Ночью лунный свет серебрил мои волосы, и они стали седыми. Зубы сточились, когда пришлось съесть кожаные ботинки, чтобы не умереть от голода. Потом заболело сердце. Оно подпрыгнуло к горлу, и я чуть не выплюнул его, как фруктовую кость, но вовремя опомнился и проглотил назад. Это случилось, когда прямо передо мной оказался австрийский аэроплан-разведчик. Завязался бой. Я швырял в него мешочками с песком, он стрелял в меня из пулемета.

– Он выпустил штурвал? – спросила великая княжна Ольга.

– Хороший вопрос. – Ося одобрительно кивнул. – В кабине их было двое, летчик и стрелок. Неизвестно, чем бы кончилась эта неравная схватка, если бы мои мешки не рвались на лету. Песок попал австрийцам в глаза, аэроплан потерял управление и стал падать. Но мой шар был пробит в нескольких местах. Внизу я видел бескрайнюю морскую гладь, она стремительно приближалась. Сквозь толщу воды я мог разглядеть медуз, рыб, огромных китов и маленьких симпатичных морских коньков. Мир был прекрасен, и я с грустью прощался с ним. Когда дно моей корзины коснулось воды, я потерял сознание.

– Милый мальчик, – сказала Александра Федоровна.

Ей явно наскучила Осина болтовня. Но великие княжны уходить не хотели.

– Как же вы не утонули? – спросила Татьяна.

– Дельфин подобрал меня и принес к берегу. Но это оказался необитаемый остров. То есть там жили люди, но они были потомками древних ацтеков и практиковали человеческие жертвоприношения.

– Ты потом об этом расскажешь, детка, а сейчас нам пора, – сказала Александра Федоровна.

– Нет, подождите еще немного, это самое интересное, как я сражался с главным ацтекским жрецом. Он был колдун.

– Ося, остановись, – прошептала Таня, склонившись к его уху, – расскажешь потом, сейчас не надо.

– Но как же? Потом я уже ничего не смогу рассказать.

Скоро явится граф, инспектор госпиталей, и я должен буду спрятаться, сидеть тихо, потому что его превосходительство антисемит. Не исключено, что с ним вместе явится сама императрица, она тоже не любит евреев.

В палате стало страшно тихо. Императрица побледнела. Все смотрели то на нее, то на Осю. Было слышно частое, возмущенное пыхтение графа. Никто не решался сказать ни слова. В напряженной тишине вдруг прозвучал тихий сдавленный голос:

– Ваше величество, вы уж не сердчайте, простите мальчика. Говорил один из раненых.

– Ой! – испуганно пискнул Ося и спрятался за Таню.

– Милый мальчик, – повторила императрица, когда процессия покинула палату и двинулась дальше по коридору, – так чем же он все-таки болен?

– Прогерия, ваше величество, – ответил Свешников, – весьма редкое заболевание, при котором ребенок стареет, не успевая вырасти, и умирает лет в одиннадцать-двенадцать от старческих болезней.

– Можно ему помочь?

– Боюсь, что нет, ваше величество.

– Где его родители?

– Он сирота.

– Мы могли бы молиться за него, на все воля Божья. – Императрица возвела глаза к потолку. – Он как будто символ своего несчастного племени. Надо его окрестить.

Глава четвертая

После бурной новогодней ночи в Куршевеле Петр Борисович изменился. Он стал пристальнее вглядываться в зеркало. Морщины, мешки под глазами, пятна старческой пигментации, похожие на ржавчину, – все это он не замечал раньше, а теперь видел как сквозь лупу.

Иногда взгляд его надолго останавливался на платиновых стрелках наручных часов. Это были отличные часы, они стоили семьдесят тысяч евро и шли идеально точно. Но Петру Борисовичу казалось, что они спешат. Слишком быстро крутятся стрелки. Время тает, как будто кто-то ворует его, примерно так же, как воруют нефть, нелегально присосавшись к трубе.

Он вдруг поймал себя на том, что внимательнее смотрит на других, своих ровесников и тех, кто старше. В глаза бросались разные любопытные мелочи.

Банкир А. красит волосы и брови. Политик Б., глава парламентской фракции, перед выборами что-то сделал с лицом, убрал отеки, разгладил морщины. Руководитель крупного концерна, болезненно толстый и совершенно лысый, уехал куда-то, вернулся худым, подтянутым. На голове настоящие живые волосы.

Но проходило время – несколько месяцев, год, и лицо политика Б. опять становилось отечным и морщинистым, ру-

ководитель концерна толстел и лысел.

У банкира А. оторвался тромб, и он умер. Банкир был ровесником Кольта. Он не курил, не пил спиртного, не баловался травкой. По выходным прыгал на теннисном корте, зимой нырял в прорубь.

После похорон за поминальным столом Петр Борисович оказался рядом со своим давним приятелем, министром В. Министр был старше Кольта на восемь лет.

– Ну что, Вова, что ты думаешь об этом? – тихо спросил Кольт после третьей рюмки.

– Да нет, Петюня, брось, ерунда! Если только... – министр нахмурился, помотал головой, очень тихо, одними губами, произнес несколько имен и вопросительно уставился на Кольта.

– Я не это имел в виду, – грустно улыбнулся Кольт, – конечно, никто ему не помог. Тромб оторвался. Но ведь, по большому счету, какая разница?

– Как какая? Очень даже большая!

– Да, возможно, разница есть. Но итог один, Вова. Десять лет, ну двадцать. А потом? Тромб, опухоль, инфаркт, это еще ничего, быстро. А если инсульт, малярия, паралич?

– Петюня, у тебя депрессия, что ли? – Министр взглянул на него сочувственно. – Ты смотри, это даром не проходит, особенно в нашем возрасте. Все болезни от тоски и стресса, надо себя пересиливать и оставаться оптимистом.

– Да, Вова, ты прав. Надо оставаться оптимистом, и даже

в гроб ложиться с улыбкой.

– Ну, ну, перестань, – министр легонько хлопнул его по плечу, – не закисай, Петя. Конечно, все там будем, с улыбкой или без нее, но ведь не завтра.

– М-гм. – Кольт взял стакан воды и залпом выпил. – Я знаю, Вова, закишать нельзя. Но я стал как-то слишком остро чувствовать время. Я отлично помню, что было десять, двадцать лет назад, каким был я, ты, все мы. Время пролетело как один миг. А дальше оно летит еще быстрее. Десять, двадцать лет – это практически завтра.

– Все-таки лучше двадцать, чем десять. – Министр нервно рассмеялся. – Я понял тебя, Петюня. Со мной это тоже бывает. Такая вдруг тоска наваливается, все кажется бессмысленным. Но я смотрю на сына своего, на внука. Мне интересно, как они растут, в них моя кровь, мое продолжение. Это утешает и отгоняет дурные мысли. Ты бы, Петюня, женился. Когда есть семья, оно все как-то легче.

– Да, наверное, – рассеянно кивнул Кольт и взглянул на двадцатипятилетнюю вдовицу банкира. – Вот он женился, и ему было легче.

Вдовица, модель европейского класса, лицо известной косметической фирмы, сидела через стол рядом с молодым телевизионным продюсером. Они тихо оживленно болтали. Рука продюсера лежала на спинке ее стула. Продюсер шептал ей что-то на ушко. Вдовица осторожно, беззвучно хихикала. Почувствовав пристальный взгляд Кольта, она напряг-

лась, слегка отодвинулась от своего собеседника и сделала траурное лицо.

– Нет, не так, конечно, – мягко усмехнулся министр, – ты же знаешь, она у него пятая или седьмая, поэтому и с детьми беда. Старший сын скололся, его здесь нет. Младший вон, сидит.

Кольт проследил взгляд министра и увидел существо без возраста и пола. Желтые локоны до плеч, выщипанные удивленные брови, огромные, навывкате, трагические черные глаза.

– Хочется думать, что он плачет по отцу. Возможно, он единственный за этим столом по-настоящему страдает, – шепотом заметил министр, – но я слышал, неделю назад его бросил любовник, известный сериальный актер, и, боюсь, дело именно в этом. Но с семьей, Петюня, все равно лучше, чем одному. А о возрасте ты не думай. Зачем думать, если ничего не изменишь? Зарядку делай, следи за весом, за питанием. Витамины принимай, сейчас огромный выбор. Есть всякие курсы очищения, естественного омоложения. Могу порекомендовать тебе пару отличных клиник, в Швейцарии и в Германии. Попробуй.

Москва, 1916

Доктор Агапкин временно переселился в квартиру Свешниковых. Раньше он снимал мансарду на чердачном этаже доходного дома неподалеку, на Миуссах, на пару с приятелем. Недавно приятель женился и съехал. Одному оплачивать это жилье Агапкину не позволяли средства. Он искал что-нибудь дешевле, но подходящие варианты пока не попадались.

Спал он на диване в комнате Володи, не более четырех часов в сутки. Пока профессор был в госпитале, Агапкин вскрывал черепа крыс, кроликов, морских свинок, производил разные манипуляции с эпифизом. Животные дохли. Он складывал тушки в фанерные ящики для почтовых посылок и выносил на помойку.

Морозы давно прошли, была мокрая грязная оттепель. Дворник Сулейман вместо мечети стал посещать социал-демократический кружок и теперь больше занимался вопросами классовой борьбы, чем уборкой мусора. От ящиков распространялась нестерпимая вонь.

Крыс Григорий Третий жил и здравствовал, ел с аппетитом, был жаден до самок и плодил обильное потомство. За прошедшие после операции три месяца он ничуть не изменился, не постарел, хотя по крысиному летоисчислению три месяца равнялись годам десяти-двенадцати. Профессор пе-

риодически брал у него кровь на анализ, дважды уносил его в госпиталь, просвечивал рентгеном и приносил обратно.

– Почему вы не вскрываете его? – спрашивал Агапкин.

– Пусть еще поживет, раз уж выпал ему такой шанс.

Агапкин по десять раз рассматривал рентгеновские снимки, изучал под микроскопом крысиную кровь, но ничего особенного не видел.

– Когда вы собираетесь продолжить опыты?

Михаил Владимирович зевал,пил мятный чай с медом, курил сигару и отвечал:

– Завтра, Федор. Завтра обязательно. Сегодня я очень устал.

Впрочем, несмотря на усталость после бессонных ночей в госпитале, профессор иногда надолго закрывался в кабинете, читал и писал что-то в толстой лиловой тетради. Агапкин спрашивал – что? Профессор отвечал: так, ерунда, наброски. И опять зевал, жаловался на хронический недосып. Заглянуть через плечо ассистент не решался, профессор не любил этого. Он хмурился и закрывал тетрадь. Агапкин мог видеть только книги на столе.

Это был странный подбор литературы. Старые истрепанные фолианты на немецком, английском, французском. Книжки о даосизме, алхимии, «История жизни Парацельса». Рядом стопка современных медицинских альманахов и журналов, «Основы гистологии» Максимова, «Клеточная природа соединительной ткани» Вирхова, свежая тонкая брошюра

профессора Поля «Опотерапия и продление жизни». «Мозг и нервная система» Герхарда, книга профессора Мечникова «Этюды о природе человека», с дарственной надписью. Тут же две старинные, рассыпающиеся книжонки какого-то Никиты Короба: «Обычаи и культы древних степных племен», «Заметки об истории и нравах диких кочевников Вуду-Шамбалской губернии».

– Я не понимаю вас, Михаил Владимирович, вы же ученый! К черту лазарет, к черту! Вы на пороге мирового открытия, это переворот во всех естественных науках, в философии, в истории, в самой жизни!

Профессор качал головой и пытался остудить пыл своего ассистента:

– Федор, у нас пока ничего нет, кроме странных случайностей. Крысу Гришке повезло, и не стоит обольщаться. За три месяца вы погубили пару сотен подопытных тварей, и все безрезультатно.

– Всего одну сотню. Но это неважно! Вы не объяснили мне методику операции, я действую наугад.

– Нет никакой методики. Я тоже действовал наугад и рассказал вам все. Возможно, в эпифизе крысы-донора или в воздухе в момент операции присутствовала какая-то неизвестная бактериальная культура. Не исключено, что сыграло роль чередование темноты и света. Эпифиз – светочувствительный орган. Наверное, как-то положительно подействовали слезы. Они лились у меня из глаз, потому что разби-

лась склянка с эфиром. О целительных свойствах слез знали еще египтяне и греки. Но скорее всего, решающее значение в успехе операции имел романс «Утро туманное», который я напевал, пока возился с крысом.

Агапкин шевелил желваками, краснел, бледнел, бежал в лабораторию истязать очередного зверька. Проклиная себя и профессора, во время операции над морской свинкой пытался плакать и пел романс «Утро туманное».

Несколько раз в отсутствие Михаила Владимировича он заходил в кабинет, искал лиловую тетрадь. Он знал, что она лежит в том единственном ящике письменного стола, который заперт. Пытался найти ключ. Был пойман Клавдией с поличным и долго, путано оправдывался, чем вызвал у честной горничной еще большие подозрения.

Агапкин худел, бледнел, терял сон и аппетит. Это заметил даже Володя, который не отличался особенной зоркостью и чуткостью по отношению к чужим недугам.

– Вы не хотите немного развеяться? – спросил он однажды за обедом.

За столом они сидели вдвоем. Прислуживала горничная Марина. Никого в доме не было.

– Что вы имеете в виду? – встрепнулся Агапкин и брезгливо бросил на тарелку ломоть теплого калача, который до этого долго и старательно мазал маслом, но так ни кусочка не откусил.

– Завтра я иду в гости к одной замечательной даме. Могу

взять вас с собой.

– К Ренате? – Агапкин мучительно зевнул.

– Как вы догадались?

– В последнее время именно эта дама кажется вам самой замечательной в Москве, а возможно, и во всей России. Но я, простите, ваших восторгов не разделяю, к тому же я занят.

Володя отхлебнул кофе, достал папиросу, сунул ее в янтарный мундштук и, насмешливо глядя Агапкину в глаза, спросил:

– Чем же именно вы так заняты, Федор Федорович, что не спите, не едите, не выходите на воздух?

Чиркнула спичка, папироска ароматно задымилась. Агапкин опять зевнул, на этот раз притворно, достал из кармана серебряную луковицу часов, встал, громко отодвинул стул:

– Простите, Володя, мне пора в лабораторию. Вам приятного аппетита и увлекательного вечера у Ренаты!

– И все-таки вы пойдете со мной, Федор Федорович, – сказал Володя очень тихо ему в спину.

– Что? – Агапкин развернулся слишком резко и застонал, схватился за шею.

– Прострел? – сочувственно спросил Володя. – Я знаю, это больно. Надо помассировать и сделать теплый компресс. Вы, Федор Федорович, пойдете со мной, хотя бы потому, что мой отец терпеть не может, когда в его отсутствие кто-либо заходит к нему в кабинет и роется в его бумагах.

– Вы ерунду говорите. – Морщась и потирая шею, Агап-

кин все-таки вернулся за стол. — Михаил Владимирович кабинета не запирает и не запрещал мне входить. Я искал книгу.

— Книги стоят на полках. Их нет в запертом ящике. Зато там спрятана лиловая тетрадь.

— Вы откуда знаете?

— Я здесь живу. — Володя глубоко затаился, вытянул губы трубочкой, и к потолку поплыли, один за другим, аккуратные колечки дыма. — Если отцу донесут, что я открывал ящик, он очень рассердится, наговорит мне резкостей, но быстро простит. Во-первых, я его сын, а он удивительно чадолюбив. Во-вторых, ему известно, что я ничего не смыслю в медицине и, следовательно, даже прочитав, не пойму ни слова. Но вы, Федор Федорович, совсем другое дело.

— Что вы предлагаете? — спросил Агапкин, морщась от боли в шее.

— Не то, что вы думаете. Взламывать ящик и вместе читать тетрадь мы с вами не станем. Пока я предлагаю только сходиться со мной в гости. Ну, не дуйтесь. Согласитесь, хотя бы из простой вежливости. Вы все-таки спите в моей комнате, едите со мной за одним столом.

— Ваша Рената интересуется омоложением? — быстро тихо спросил Агапкин.

— Нет, — Володя ласково улыбнулся и погасил папиросу, — она и без этого молода и прекрасна. Просто ей хочется спасти жизнь хотя бы нескольким невинным тварям, которых

вы собираетесь резать завтра вечером.

Москва, 2006

Соня вела машину очень осторожно. У нее кружилась голова. Пару раз пришлось припарковаться у обочины, посидеть с закрытыми глазами.

– Нолик, дорогой мой, почему ты до сих пор не получил права? Для мужчины твоего возраста это неприлично, – ворчала она. – Сейчас вот рулил бы за меня, а я бы мирно спала на заднем сиденье.

Нолик ее не слышал. Он рассуждал о советско-германских отношениях накануне Второй мировой войны. Ему не давал покоя лопоухий молодой человек в форме лейтенанта СС на фотографиях, рядом с юной Сониной бабушкой и с младенцем, возможно, Сониным отцом, на руках.

– На самом деле война началась не только по злой воле Гитлера и Сталина. Все были хороши, и французы с англичанами, и американцы. К тридцать восьмому разразилась всемирная эпидемия какого-то ошеломительного вранья и предательства на высшем уровне.

– Дипломаты всегда врал, во все века, – лениво заметила Соня, выруливая на соседнюю полосу, где было меньше машин.

– Да, не спору. Но перед той войной творилось нечто особенное. Ни одно соглашение не работало. Договоренности, подписанные вчера, нарушались завтра без всяких преду-

преждений. Сталин не верил англичанам, Чемберлена терпеть не мог и ждал, что Гитлер нападет на Великобританию. Чемберлен и Даладье мечтали, чтобы два людоеда, красный и коричневый, перегрызли друг другу глотки. Им было по фигу, что при этом погибнут миллионы людей в России и в Германии, они подло и беспощадно предали Чехословакию, отдали Польшу на растерзание двум людоедам.

– Нолик, откуда ты все это знаешь? – удивилась Соня.

– Ты забыла? Я с детства люблю военную историю. По Второй мировой войне я бы, наверное, диссертацию мог защитить, давать консультации кинодокументалистам и читать лекции. Только ко мне никто не обращается, и слушать меня некому. Тебе интересно?

– Да, очень.

– Когда Молотов и Риббентроп подписали знаменитый пакт, между СССР и Германией завязались не только торговые, но и военные контакты. Например, группа летчиков «Люфтваффе» обучалась на одном из военных аэродромов в Москве.

– При чем здесь бабушка Вера?

– Она вполне могла работать переводчицей, она же отлично знала немецкий.

Сама не понимая почему, Соня вдруг разозлилась.

– Ну и что? Допустим, она работала переводчицей, познакомилась с молодым лейтенантом СС, сфотографировалась с ним. Что из этого следует?

– Ничего, – Нолик вздохнул, – познакомилась, сфотографировалась, сначала с ним вдвоем, потом втроем, с младенцем. Младенец – твой папа. Он вырос, через шестьдесят семь лет съездил в Германию, привез фотографии в портфеле, прятал их от тебя и очень скоро после этого умер.

– Так, все! – крикнула Соня. – Лучше рассказывай дальше про Сталина и Гитлера!

– Хорошо, – согласился Нолик, – только орать зачем?

– Извини.

– Не извиню!

Несколько минут ехали молча. Соня свернула к обочине, остановилась, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза.

– Софи, тебе нехорошо? – тревожно спросил Нолик.

– Знаешь, папа всю жизнь был убежденным коммунистом, – еле слышно пробормотала Соня, не открывая глаз. – Ленина считал святым. Говорил, что сталинские репрессии можно оправдать колоссальным экономическим скачком, индустриализацией и в конечном счете – победой в войне. Я не спорила с ним. Мама – да, спорила до хрипоты, до визга.

– И правильно делала, – проворчал Нолик.

– Не знаю. Вряд ли. Все равно переубедить не могла.

– Да, наверное, никто бы не смог. Твоему папе казалось, что любой самый невинный антисоветский анекдот косвенно порочит память юной разведчицы Веры. – Нолик грустно вздохнул. – Все-таки жалко, что ты росла без бабушки.

А твою прабабушку даже я помню, правда, смутно. Она, кажется, в восемьдесят втором умерла?

– В восемьдесят третьем. Мне было семь. У нее под кроватью хранился узелок. В нем сухари, зубная щетка, кубик хозяйственного мыла, фланелевые штаны, пояс с резинками, жуткие коричневые чулки. И портрет Ленина, эмалевый, в серебряной рамке, как иконка. До глубокой старости она ездила по России, выступала перед пионерами, рассказывала о своей героической дочери и плакала. Каждый раз искренне рыдала и узелок всегда возила с собой.

– Зачем?

– Эх ты, историк. Вдруг арестуют?

– А портрета дочери в узелке не было?

– Нет. Только Ленин. Понимаешь, ведь из-за этих фотографий в портфеле папа мог умереть. Он вдруг узнал, что жизнь его мамы была совсем другой и вовсе не совпадает с каноническим житием советской святой. Для него это шок, достаточно серьезный, чтобы вызвать сердечный приступ. Может, сжечь их к черту?

– Он не сделал этого.

– Ну да, да, ты прав. – Соня посмотрела на часы, горестно шмыгнула носом и выехала на трассу. – Ладно, давай дальше про двух людоедов.

– С удовольствием. Редкий случай, когда ты меня слушаешь, а не я тебя. Так вот. Поделили Польшу, Гитлер стал получать интересную информацию о реальном состоянии

Красной армии. До этого он верил официальной сталинской кинохронике, видел роскошные парады на Красной площади и боялся, что не одолеет такой военной мощи. Кстати, в тот период они вполне мирно общались между собой, переписывались. Возможно, в октябре сорокового они тайно встретились во Львове.

– Стоп! Не верю! – Соня как будто проснулась, отвлеклась наконец от невыносимых мыслей о папе. Стала слушать внимательнее, прокручивать в голове университетский курс новейшей истории.

– Да, – легко согласился Нолик, – такого рода версии навсегда останутся вопросами веры и неверия. Точных доказательств нет. Понятно, что если встреча состоялась, то потом оба участника сделали все, чтобы не осталось ни документов, ни свидетелей.

– Вокруг Сталина и Гитлера вообще много мифов, – заметила Соня, – я, например, читала у одного вполне авторитетного историка, что Сталина в тридцать восьмом омолаживали, в Боткинской больнице ему провели операцию по имплантации желез. Оперировал профессор Розанов, ассистентом был доктор Плетнев, его личный врач. На самом деле это полный бред. Никто бы не решился пересаживать Сталину чужие железы, поскольку в то время еще не знали, что делать с отторжением тканей при пересадке, не умели подавлять иммунитет.

Нолик ничего не ответил. Он вдруг замолчал, насупился,

достал сигарету.

– Не вздумай курить, – предупредила Соня, – открывать окно холодно, мы назад повезем маму, если она учует запах в салоне, запилит меня до смерти.

– Софи, а ведь там среди фотографий был еще и профессор Свешников, – пробормотал Нолик и покорно убрал сигарету назад в пачку, – ты сейчас сказала про омоложение, и я вспомнил! Сталин очень интересовался этим, очень. Может, железы ему и не пересаживали, но Институт экспериментальной медицины проблемами продления жизни занимался весьма серьезно. Я недавно видел документальное кино по телевизору, как раз об этом. Там рассказывали, что существует версия, будто Свешников руководил одной из закрытых лабораторий и лично для Сталина разрабатывал методы омоложения.

Соня тихо присвистнула и даже оторвала руку от руля, чтобы покрутить у виска пальцем.

– Михаил Владимирович Свешников в феврале двадцать второго удрал из Советской России через Финляндию. Он вместе с дочерью Татьяной, сыном Андреем и внуком Мишей пяти лет перебрался через Финский залив. Скорее всего, профессор Свешников после этого путешествия умер от пневмонии. Мороз, ветер. Им удалось достать только один тулуп и шерстяной плед, Свешников закутал в плед дочь и внука, тулуп отдал сыну, а сам был в легкой куртке и свитере.

– Где ты это прочитала?

– Нигде. Мне рассказывал об этом Федор Федорович Агапкин. Он был ассистентом Свешникова, еще до революции.

– Кто? – Нолик дернулся, чуть не подпрыгнул на сиденье. Если бы он не был пристегнут, наверное, выбил бы лбом ветровое стекло. – Софи, ты поняла, что сейчас сказала? Агапкин, ассистент профессора Свешникова, тебе об этом рассказывал! Какого он года рождения?

Соня нахмурилась, пытаясь вспомнить, и через минуту растерянно произнесла:

– В девятьсот шестнадцатом ему было двадцать шесть, кажется. Когда я училась в аспирантуре, Бим в первый раз привел меня в гости к Агапкину. Он живет где-то в центре, на Брестской. Он знал Павлова, Богомольца. Он остался в России, работал в том самом Институте экспериментальной медицины.

– погоди, Софи, ты ничего не путаешь? Ему что, правда, больше ста десяти лет?

Несколько минут Соня молчала. Они подъехали к стоянке у аэропорта, вышли из машины. Нолик тут же закурил. Соня, прыгая по ледяной слякоти в своих кроссовках, вдруг сообщила со странной нервной веселостью:

– Точно, Федор Федорович 1890 года рождения. Он старый, иссохший, как мумия, но никакого маразма. Соображает отлично. Кстати, он говорил мне, что я очень похожа на Таню, дочь Свешникова. Если мне отрастить волосы, то по-

лучится вылитая Таня. Но это ерунда, конечно. Дочь Свешникова была красавица. Просто у старика плохое зрение. Мы с Бимом потом еще пару раз его навещали.

Москва, 1916

Фонари горели тускло, в переулках было совсем темно. Володя взял Агапкина под руку.

– Боитесь, что сбегу? – спросил доктор.

– Нет, не боюсь, просто подморозило и скользко.

Агапкин высвободил руку.

– Терпеть не могу вот так ходить с мужчиной.

– Не дай Бог, люди не то подумают? – Володя улыбнулся, сверкнул в полумраке белыми зубами. – Бросьте, здесь никого нет. Улицы пусты и мрачны, как будто все уже произошло.

– Что – все?

– Революция, Апокалипсис, кровавый хаос, называйте, как хотите. В разных слоях общества говорят об этом, но никто не понимает цели и смысла предстоящих событий. – Володя заговорил глухо и хрипло, как будто он испытывал чувственное удовольствие, произнося «кровавый хаос». Даже дыхание его участилось.

– А вы понимаете? – насмешливо спросил Агапкин.

Володя ничего не ответил. Он ускорил шаг, обогнал Агапкина, свернул в подворотню и пропал.

– Пройдемте здесь, так короче, – услышал доктор его голос из мрака и вдруг подумал, что профессорский сын видит в темноте, как кошка.

Проходной двор освещался тусклым светом из несколь-

ких полуподвальных окон. Дома были низкие, деревянные. В нос ударила характерная вонь московских трущоб. Перегар, тухлая капуста, моча. Агапкин знал этот букет с младенчества, он вырос в таком же грязном дворе, в Замоскворечье.

– Осторожно, тут яма, – предупредил Володя и опять взял его под локоть.

Внезапно дверь справа от них распахнулась. Стали слышны пьяные крики, мужские и женские. В прямоугольнике желтушного света возник смутный мужик, шагнул вперед. Ноги его не гнулись. Он был бос и одет лишь в исподнее. Он шарил перед собой руками, как слепой. Агапкин успел заметить, что рубаха у мужика на груди черна, а на снегу, освещенном светом из дверного проема, остаются темные пятна.

– Тихо! – прошептал Володя и потащил доктора во мрак. – Молчите и не шевелитесь.

Голоса звучали все громче, все ближе. Выскочил еще один мужик, огромный бородатый детина, в сапогах, с мясным тесаком в руке. Вслед за ним явилась баба, по виду кухарка или прачка. Догнала, принялась лупить детину кулаками по спине, хватать за кафтан.

– Куда, ирод?!

– Пусти, сука, пусти, убью! – детина оттолкнул бабу локтем.

Баба упала. Детина размахивал тесаком и глухо рычал.

– Убил уже, насмерть зарезал! Брата родного, мужа моего убил, ирод! – выла баба, поднимаясь и отряхивая юбку.

Между тем первый, в исподнем, прошел несколько шагов, рухнул на землю. По глухому стуку упавшего тела, по страшному сдавленному хрипу Агапкин понял: отходит, и сделал быстрое инстинктивное движение к умирающему мужику. Он все-таки был врач. Но Володя стиснул его запястье, и Агапкин тут же повиновался, без слов понял: да, зачем вмешиваться? Потом не оберешься неприятностей с полицией, а этому, в исподнем, все равно уже не помочь. Судя по хрипам, по темным пятнам на рубаше и на снегу, у него перерезано горло, задеты шейные артерии.

Мужик с тесаком добежал до умирающего, застыл над ним. В двух шагах застыла баба. На мгновение стало тихо. Агапкин успел разглядеть совсем близко проход между домами. Ничего не стоило нырнуть туда и исчезнуть из страшного двора.

– Нельзя помочь, так пойдемте, – шепнул он на ухо Володе.

Володя ничего не ответил, только крепче стиснул его руку и смотрел, не отрываясь, на мертвого, на убийцу с тесаком, на бабу.

Убийца упал на колени и принялся тормошить тело, тупо, жалобно повторяя:

– Проща, брат, ну ты чего, а?

Рядом бухнулась на колени баба и тихо, тонко завывала. Простоволосая голова ее приклонилась к плечу убийцы. А в освещенном дверном проеме появилась еще одна фигура,

мальчик лет семи в длинной рубахе. Он зевал и тер глаза.

Володя потянул Агапкина к проходу и быстро, жарко шепнул на ухо:

– Шекспир. «Гамлет».

Через минуту они оказались на соседней улице. Там горели фонари. Снег был убран, светились окна в домах, у кинематографа ждали извозчики. Закончился последний сеанс, стала выходить публика.

– Нам повезло больше, – тихо заметил Володя, – мы только что наблюдали фильму живую, а не придуманную, причем бесплатно.

Навстречу попались двое городских. Агапкин проводил их взглядом и даже открыл рот, но ничего не сказал, тяжело вздохнул и, только когда городские остались далеко позади, нерешительно спросил:

– Может, все-таки стоило сообщить?

– Зачем? Чтобы превратить высокую драму в бульварный детектив? В смерти даже самого ничтожного человеческого существа есть определенное величие. Но участок, допрос, протокол – это так пошло. Не волнуйтесь, они и без нас найдут труп.

– Убийца успеет уйти.

– А вам что?

– Он еще кого-нибудь убьет.

– Обязательно. И вы ничего изменить не сможете. Городские тоже не смогут. Полиция, жандармерия, армия, казаки

– никто не сумеет остановить лавину. Очень скоро тысячи, миллионы таких мужиков с тесаками, с винтовками и пулеметами заполнят улицы Москвы, Петрограда, всей России. Вместо воды в реках потечет кровь, и события девятьсот пятидесяти покажутся легкой опереткой.

– Вы как будто рады этому, – заметил Агапкин.

– Я рад, что лавина сметет этот пошлый обывательский мирок, уничтожит скучную буржуазность, биржи, банки, департаменты. Государство прогнило и смердит, – Володя говорил негромко, но пафосно, как на митинге.

– Вы анархист? – спросил Агапкин.

– Не угадали.

– Социал-демократ?

– Не утруждайтесь. Я не принадлежу ни к одному из модных политических направлений. Я презираю их, особенно те, которые проповедуют равенство. Равенство – любимая иллюзия рабов, вечный соблазн профанического большинства.

Агапкин молча слушал, косился на Володю, и ему казалось, что сын профессора не шагает с ним рядом по темному Тверскому бульвару, по хрустящей подмороженной слякоти вдоль пустых скамеек, а стоит на высокой трибуне. И одет он не в студенческую шинель, а то ли в пурпурную римскую тогу, то ли в какой-то причудливый средневековый плащ.

Москва, 2006

Пока шли от платной стоянки к зданию аэропорта, Сонины кроссовки пропитались слякотью и затвердели. Соне казалось, что на ногах у нее ледяные колодки. В зале прилетов Нолик нашел свободный стол в кафе, усадил Соню, сам отправился к справочной, поскольку рейса из Сиднея на табло не было. Соня заказала чай и бутерброды. На соседнем стуле валялся тонкий глянцевый журнал. Соня принялась листать его и тут же наткнулась на жирный рекламный заголовок: «Омоложение! Использование новейших биоэлектронных технологий. Гибкая система скидок. Быстро, безболезненно, недорого. Гарантия три года».

Далее следовал короткий наукообразный текст о консервированных эмбрионах, вытяжке из половых желез орангутанга, моментальном разглаживании морщин и глобальном оволосении головы. Под текстом сияли улыбками две красивые женщины. «Угадайте, сколько мне лет?» – спрашивала блондинка.

«Главный мой капитал – красота, но нет в мире банка, в котором можно хранить эту валюту», – признавалась брюнетка.

Прибежал возбужденный Нолик, сказал, что самолет из Сиднея сел двадцать минут назад. Тут же у Сони зазвонил мобильный.

– Не волнуйся, я жду багаж. Если сидишь в кафе, допей и съешь все, что заказала, – услышала она спокойный низкий мамин голос.

Глаза защипало, губы задрожали. Соня вдруг почувствовала себя совсем маленькой, как будто она стоит у забора на даче в детском санатории, вжав лицо между досками, и еще не видит, но уже точно знает, что родители приехали забрать ее домой.

– Мама, мамочка моя, как же я по тебе соскучилась!

– Ого, я не ослышалась? – хохотнула мама в трубку. – Ты ли это, Софи, моя строгая ученая дочь?

Вера Сергеевна похудела и выглядела отлично. Даже многочасовой перелет никак на нее не подействовал. Пахло от нее какими-то новыми духами с оттенком полыни. Высокий ворот синего свитера оттенял голубые глаза, узкие, как будто слегка прищуренные в полуулыбке.

– Я выпалась в самолете, но съесть там ничего не смогла, кухня на австралийских авиалиниях отвратительная, просто умираю с голода. Холодильник у тебя, разумеется, пустой. Предлагаю заехать куда-нибудь поужинать.

– Мама, уже ночь, – напомнила Соня.

– Ничего, в Москве можно найти открытый ресторан в любое время суток.

– Почему пустой холодильник? – обиженно встрял Нолик. – Я вытащил Софи в супермаркет, мы все купили к вашему приезду.

– Ты моя умница! – Вера Сергеевна чмокнула Нолика в щеку. – Если бы ты еще и проследил, чтобы Софи надела сапоги, а не кроссовки, тебе бы цены не было.

– Вера Сергеевна, сапог у нее нет, и дубленки нет. Я не виноват, что она такая.

– Хочешь сказать, я виновата? Ладно, завтра же пойдем по магазинам, приоденем мою девочку. – Мама взъерошила Соне волосы. – Скажи, какой дрянью ты моешь голову? И что за странная прическа?

– Мама, ты же знаешь, у меня они с детства стоят дыбом и торчат во все стороны, как у дикобраза.

– Просто иногда надо причесываться. Только не говори, что тебе некогда или безразлично.

– Я вообще лучше помолчу, – вздохнула Соня.

Она отправилась одна к стоянке, чтобы подогнать машину. Восторг по поводу маминого прилета слишком быстро сменился прежней тоской. Мама вела себя так, словно ничего не произошло. Ни слова о папе. Табу. Мама всегда была категорической оптимисткой и от других требовала постоянной бодрости. Плохое настроение, болезнь, даже простую усталость она воспринимала как личное оскорбление. Соню с детства преследовал вопрос: «Что у тебя с лицом? Ты чем-то недовольна?»

«Да, мамочка. Я недовольна. Папа умер, и я не могу улыбаться до ушей. Прости меня».

Конечно, Соня не сказала этого. Когда загрузились в ма-

шину и выехали на трассу, она гордо сообщила:

– Можешь меня поздравить. Мне предложили интересную работу. Наверное, я скоро уеду в Германию на год.

– В Германию? – Мамин голос прозвучал как-то странно. – Почему именно туда?

Соня стала рассказывать о проекте, о «Биологии завтра». Нолик иногда встречал со своими комментариями. Мама слушала молча. Соня не видела ее лица, смотрела на дорогу, но вдруг почувствовала, как сильно мама напряглась. Напряжение нарастало и наконец заставило замолчать Соню.

– Вера Сергеевна, вы что, не рады за Софи? – удивленно спросил Нолик.

Мама ничего не ответила, продолжала молчать, смотрела в окно. Когда какой-то «жигуленок» слишком резко затормозил перед ними, она вдруг принялась преувеличенно возмущаться безобразиями на московских дорогах, рассказывать о дорогах в Сиднее, и так до тех пор, пока Нолика не завезли к нему домой на Войковскую и не остались вдвоем в машине. Только тогда она произнесла:

– Отец звонил мне совсем недавно, когда вернулся из Германии. Просил прилететь как можно скорее. Сказал, что ему необходимо обсудить со мной нечто важное. Ни по телефону, ни в письме об этом говорить нельзя. Я сразу заказала билет на рейс, которым вот сейчас прилетела. Раньше я никак не могла, меня бы просто уволили. Господи, если бы я знала! А потом, когда все произошло и ты позвонила, я уже

не могла обменять билет, вылететь раньше. Так получилось. Пока я говорила с тобой, у меня закружилась голова. Я упала у себя в кабинете, рассекла висок об угол стола. Было сотрясение мозга. Вот тут, под волосами, шрам. Пришлось изменить прическу, но врач сказал, потом ничего не останется.

Машина стояла на светофоре. В ярком фонарном свете Соня увидела шов на мамином виске.

– Противно, правда? – Мама тут же достала зеркало и поправила прядь. – Хорошо, что это не нос, не глаз, не щека.

– Мамочка, почему же ты ничего мне не сказала сразу, по телефону? – отчаянно прошептала Соня. – Ты так быстро прекратила разговор, я подумала, ты чем-то занята и это для тебя важнее папы.

– Спасибо. Ты хорошо обо мне подумала. Ладно, давай забудем. Тебе и так досталось. Когда ты собираешься улетать в Германию?

– Не знаю. Они должны мне позвонить. Хотя, может, и вообще не позвонят. Пропадут. Так ведь уже бывало. Сначала приглашают, обещают, а потом не перезванивают. Обидно, конечно, но я привыкла. Мам, ты не помнишь, когда ты говорила с папой, он ничего не сказал о проблемах с сердцем?

– С сердцем? Нет. Он уверял, что чувствует себя вполне здоровым, только стал быстро уставать. Слабость, голова кружится. Но это ерунда, скоро пройдет. Дело совсем в другом. Это касается нас всех, и прежде всего тебя.

– Меня?!

– Ну да. Я поэтому сразу и заказала билет. А тебе он ничего не рассказывал?

– Ничего. Только обещал, в тот последний вечер. Обещал, но не успел.

Москва, 1916

Володя и Агапкин вошли в подъезд мрачного доходного дома в Хлебном переулке, поднялись на пятый этаж. Дверь открыла пожилая хмурая горничная, молча приняла у них пальто и исчезла. В квартире пахло восточными благовониями так сильно, что у Агапкина закружилась голова.

– Вы забыли снять калоши, – напомнил Володя, – здесь повсюду ковры.

– Да, простите.

Пол в гостиной действительно покрывал мягкий лиловый ковер с каким-то замысловатым рисунком. Вместо электричества горело множество свечей. Подсвечники стояли на этажерках, низких столиках, на каминной полке, на полу. Мебель была старинная, темного дерева. Стены обиты малиновым шелком, потолок выкрашен в сумрачный синий цвет и украшен крупными стразами. Задрав голову, Агапкин разглядел созвездие Стрельца и ковш Медведицы. Стразы сверкали и переливались в дрожащем свете свечей.

На низком широком диване полулежала в живописной позе Рената. На ней было что-то красное, кисейное, вроде туники. Пепельные, мелко выющиеся волосы повязаны алой лентой. Агапкин заметил, что ноги ее открыты, босы. Рядом в кресле, свернувшись калачиком, мирно спала черноволосая барышня в коричневом гимназическом платье. На под-

локотнике кресла сидел молодой мужчина со светлой жидкой бородкой, длинными волосами и неприятными бараньими глазами навывате. Он держал толстую, очень старую книгу в потертom коричневом переплете и что-то читал оттуда, тихо, монотонно, как будто отчитывал покойника. Агапкин не мог понять, какой это язык. По звучанию он напоминал арабский.

Рената молча кивнула и приложила палец к губам. Спящая девушка не проснулась, мужчина продолжал читать.

Володя поцеловал руку Ренате, сел рядом с ней на диван. Агапкин смущенно пробормотал «Добрый вечер» и остался стоять. Рената жестом указала ему на кресло возле низкого столика. На нем кроме подсвечника с тремя толстыми свечами стояло медное блюдо, на котором дымилось множество маленьких ароматических пирамидок. Дым обволакивал, впитывался не только в легкие, но и в кожу. Голова уже не кружилась. Голос читавшего завораживал, Агапкин поймал себя на том, что ему хочется закрыть глаза и покачиваться в ритме странного текста. Он тряхнул головой, незаметно ущипнул себя за ляжку сквозь брюки и тут же поймал спокойный, задумчивый взгляд Ренаты. Все это время она наблюдала за ним, смотрела, не моргая. В ее расширенных зрачках отчетливо дрожало пламя свечей. Агапкин кашлянул и шепотом спросил:

– Какой это язык?

– Самый древний из существующих. Язык Гермеса Три-

смегиста, язык «Изумрудной скрижали». Не пытайтесь понять, просто слушайте, как музыку.

Между тем в гостиную бесшумно вошли еще двое мужчин. Один маленький, щуплый, белесый, словно присыпанный мукой. Второй высокий широкоплечий красавец с породистым, но удивительно глупым лицом. Таких, черноусых и гладких, рисуют на рекламе ароматизированных папирос «Роскошь». Все, кроме спящей девушки и читавшего, обменялись молчаливыми поклонами. Мужчины расселись по креслам.

Агапкин упорно боролся со странной, сладкой дремотой. Веки стали тяжелыми, тело не слушалось. Он уже понял, что в курящиеся благовония добавлена изрядная доля опиатов. Незаметно он уснул, провалился во мрак, увидел фигуру мужика с перерезанным горлом и во сне подумал, что Володя не случайно завел его в тот страшный проходной двор и даже как будто заранее знал, что там должно произойти.

Голос читавшего давно затих. В гостиной шел приглушенный спокойный разговор. Агапкин все слышал, но не мог шевельнуться и открыть глаза. Говорили по-русски, но так же непонятно, как если бы это был язык Гермеса Трисмегиста.

– Открывшие тайну первовещества не умирали. Великие Мастера разыгрывали собственную смерть, чтобы не искушать профанов.

– Вы, конечно, имеете в виду естественную, а не насильственную смерть? Если не ошибаюсь, Арнольд из Виллано-

вы был сожжен на костре Святой инквизицией в 1314 году.

– Вот именно, что ошибаетесь. Подвергнуты аутодафе и сожжены были его труды, уже после его смерти, им самим инсценированной. Известно, сколько трудов Мастера Арнольда уцелело, по миру бродит множество подделок. Это работа пафферов, мошенников от алхимии. Они подписывали именем Мастера Арнольда любую чушь. Достоверно доказана подлинность лишь одного небольшого труда Мастера, обнаруженного неким Пуарье в XVI веке. Там речь идет о возможности продлить жизнь до нескольких столетий. Но, как обычно у великих Мастеров, сам способ омоложения изложен иносказательно. Например, под «кровью» разумеется не человеческая кровь, и даже не кровь животных, а душа металлов. Ртуть – вовсе не то, что мы знаем как содержимое трубки градусника и основу ртутной мази. Сера и свинец тоже только символы.

– Но золото уж точно не символ. Раймонд Луллий алхимическим путем наделал для короля Эдуарда III столько золота, что из него еще долго потом чеканили дукаты, которые назывались «раймундины». Монеты до сих пор хранятся в Британском музее и в Лувре, есть они и у частных коллекционеров.

– Любопытно, что делать золото для короля Луллий начал уже после своей смерти.

– Алхимическое золото не цель, а средство, всего лишь промежуточный этап, правда, последний. Если при помо-

щи полученной субстанции простой металл становится золотом, значит, первовещество найдено и можно принимать его внутрь. Перед приемом следует сорок дней строго поститься и тщательно очищать организм.

– При помощи клистира?

– Именно. Затем порошок первовещества принимается в гомеопатических дозах. В результате у Мастера выпадают все волосы, зубы, слезают ногти, шелушится кожа. Наступает недолгий летаргический сон, из него Мастер выходит молодым и здоровым, с новыми волосами, зубами, ногтями, кожей. Так может продолжаться несколько веков.

– Что же такое это первовещество?

– Повторяю, рецепт зашифрован, и ключ к шифру можно найти только путем самостоятельного многолетнего уединенного делания.

– А можно и не найти.

– Отравиться, умереть или сойти с ума.

– Да, большинство опытов заканчивались именно так либо подменялись сознательным мошенничеством, как в случае с господином Калиостро. Он зарабатывал недурные деньги, купая богатых профанов в ртутных ваннах. Волосы и зубы выпадали, он говорил, что так и нужно. Омоложденные умирали, но находились очередные профаны, готовые поверить мошеннику.

– Тот, кто добывал первовещество, молчал об этом.

– Не всегда. Вот послушайте: «Наконец я нашел, что ис-

кал, и узнал это по едкому запаху. После этого я с легкостью завершил Делание, и, поскольку я открыл способ приготовления первовещества, я не смог бы ошибиться, даже если бы захотел». Это Николай Фламель. Перевод со старофранцузского мой. Мастер Фламель написал это в 1382 году. Он был бедным писарем, жил в Париже, очень скромно. Именно с 1382 года стал стремительно богатеть. Доподлинно известно, что никакого наследства он не получал и никаких кладов не находил. Но вдруг за несколько месяцев он приобрел в собственность более тридцати домов и участков земли в Париже, оплатил постройку трех больниц для бедных, с часовнями. На свои средства восстановил церковь Сен-Женевье-де-Арден, пожертвовал большие суммы в пользу госпиталя для слепых Кенз-Вент. Госпиталь до сих пор существует в Париже, и ежегодно проводится праздник памяти Фламеля. Сохранилось множество официальных документов, свидетельств бескорыстной щедрости Мастера. При этом сам он продолжал жить в том же бедном доме возле кладбища Святых Младенцев. Конечно, слух о его богатстве дошел до короля Карла VI, и к Мастеру был послан для инспекции королевский чиновник де Крамуази. Вернувшись, чиновник доложил королю, что слухи о богатстве писца – ложь. Фламель и его жена едят на глиняной посуде и носят грубые простые одежды. На самом деле Мастер подкупил чиновника, раскрыл ему свою тайну и поделился первовеществом. Вскоре де Крамуази разбогател и стал выглядеть на двадцать лет

моложе. Что с ним случилось потом, неизвестно. А Мастер Фламель через несколько лет разыграл сначала смерть своей жены, затем свою собственную кончину. На кладбище Святых Младенцев были похоронены два бревна, одетые в их платья. Потом они встретились в Швейцарии, купили поддельные документы и отправились в Индию.

– Почему же великие мастера не хотели умирать, если знали, что смерти нет? – спросил высокий девичий голос.

Агапкину наконец удалось открыть глаза. В гостиной был тот же полумрак. Гимназистка уже не спала, сидела на ковре у ног белесого господина. Говорил в основном он. Остальные слушали и задавали вопросы. Последний вопрос задала гимназистка, но отвечать на него белесый не стал, он посмотрел на Агапкина. Глаза у него были желтые, с красноватыми белками. Взгляд пристальный, холодный и внимательный. За весь вечер он ни разу не улыбнулся.

– Федор Федорович, как вы себя чувствуете?

– Спасибо, хорошо. – Агапкин откашлялся, прочистил горло и с удивлением обнаружил, что действительно чувствует себя бодрым и выспавшимся.

– После стольких бессонных ночей и тяжелых разочарований вам необходим отдых, – продолжал белесый, – нервы ваши расстроены. Вы не понимаете, почему опыты профессора Свешникова заканчиваются успешно, а у вас животныедохнут. От этого можно сойти с ума.

Белесый смотрел ему в глаза не моргая, говорил медлен-

но, мягко, и у Агапкина не было ни сил, ни желания лгать. Наоборот, ему захотелось поделиться с этим умным спокойным господином всем, что так мучило его в последние месяцы.

Глава пятая

Семьи Петр Борисович Колът не имел. Было некогда и неохота. Женщинам он не доверял, любовь считал не более чем товаром, как нефть, алюминий и природный газ. Он мог купить любую девушку, какая понравится, и неприступность была всего лишь вопросом цены.

В его кругу еще с советских времен существовали специальные сводники, которые находили самых красивых девушек для очень богатых клиентов, предлагали десятки фотографий на выбор, устраивали случайные романтические знакомства. Заказать себе в подруги можно было кого угодно и в любом количестве. Сводник гарантировал качество товара с медицинской и юридической точек зрения.

Исключительно честные, чистые, культурные девушки, они хотели выйти замуж, но не за слесаря или инженера, а за человека достойного. Изредка достойные люди действительно женились на них, но в большинстве случаев нет. Либо они уже были женаты, либо вообще не собирались заводить семью, как Петр Борисович.

В любви, как и в бизнесе, Колът был стремителен, щедр, но крайне осторожен. Меняя подруг, он следил, чтобы ни одна не забеременела от него, и когда вдруг какая-нибудь лапушка признавалась ему, что ждет ребенка, он точно знал – врет.

И все-таки ребенок у него был. В семьдесят седьмом году ему на короткое время вскружила голову двадцатилетняя студентка Института кинематографии. Ее звали Наташа. Он познакомился с ней в Доме кино на премьере фильма, в котором она сыграла одну из главных ролей. Она показалась ему красивой до спазма в горле. Он даже думал – не жениться ли? Но через год, когда он, слегка утомившись однообразием, привез на дачу восемнадцатилетнюю солистку ансамбля песни и пляски, Наташа неожиданно явилась туда и устроила отвратительную сцену.

Она была на восьмом месяце. Петр Борисович дождался родов, не без волнения взял на руки розовый сверток, в котором пищала и морщилась прелестная новорожденная девочка, отвез Наташу с младенцем в трехкомнатную квартиру в элитной новостройке на проспекте Вернадского и уехал домой.

Девочку называли Светланой. Отчество – Петровна, но фамилия матери, Евсеева. Петр Борисович выплачивал Наташе и ребенку щедрое ежемесячное содержание, дарил подарки, аккуратно навещал дочь по праздникам, сам не заметил, как привязался к белокурой пухленькой малышке.

Когда девочке исполнилось шесть, Наталья заявила:

– Светик хочет танцевать!

– Отлично. Пусть поступает в балетное училище, – сказал Кольт.

– Мы уже ходили. Ее не берут. Говорят, нет выворотности,

низкий подъем, широкая кость, слабая прыгучесть.

Кольт посмотрел на крупную широкоплечую девочку с большими плоскими ступнями, с тяжелыми пухлыми руками и подумал: вряд ли из его дочурки выйдет танцовщица. Он знал, какие тела у балерин, какая кость, какие плечи и шеи.

– Светик хочет танцевать! Светик хочет! – вопила дочурка, топала ногами и била увесистым кулачком по колену Петра Борисовича.

Через год ее приняли в училище. Все знали, что девочка «блатная», но чья именно она дочь, не знал почти никто.

Наблюдая, с каким упорством Светик занимается трудным и совершенно не своим делом, Кольт ловил себя на новых незнакомых чувствах. Он теперь не только любил дочь, но и уважал ее.

Девочке не хватало таланта, она компенсировала это упорным трудом. Когда и труд не помогал, она ловко интриговала, хитрила, клеветала на соперниц, подставляла их и устраняла со своего пути.

– Танк, а не ребенок. Раздавит, любого раздавит, – говорили о ней.

Петр Борисович слушал и ухмылялся. Он знал, что в этом подлом мире лучше быть танком, чем травой под его гусеницами.

– Светик хочет танцевать в Большом и стать солисткой, – сказала девочка, когда закончила училище.

Ее не брали, даже в кордебалет. Слишком высокая и тяжелая, ни один партнер не поднимет. К тому же танцевала она все-таки плохо, как ни старалась. У нее было роскошное тело, но оно не годилось для балета. Отцовское упорство и хитрость сочетались в ней с материнской красотой и склонностью.

– Светик хочет! Хочет!

В Большой театр ее все-таки взяли, заключили договор на год. Стоило это Петру Борисовичу значительно дороже, чем поступление в училище.

Наташа давно не снималась в кино. Она стала чем-то вроде импресарио при дочери. Она занималась ее пиаром, свободно пользуясь деньгами и связями Петра Борисовича. Она устраивала телеэффиры, покупала восторженную критику, занимала «группы поддержки» для бурных аплодисментов и криков «браво».

В интервью Светик повторяла, что добилась успеха исключительно собственным трудом и талантом, полученным от Бога. Никто не верил. Сначала скептически хмыкали, потом открыто смеялись. Молодая балерина, правда, была красива, чрезвычайно высоко поднимала ногу, невинно трепетала накладными ресницами перед камерой, говорила о вечном, о духовности и милосердии, при посторонних почти не употребляла мата и очень редко произносила плохое слово «блин». Все это, конечно, достоинства неоспоримые, но при чем здесь сцена Большого театра?

Чтобы унять неприятные смешки, следовало придумать какие-то более приземленные объяснения волшебным успехам балерины Евсеевой. Все понимали, что за девушкой стоят огромные деньги, и всех интересовало – чьи?

Открыть публике, что деньги папины, Светик не желала. Это банально и неромантично. Да и Петр Борисович не спешил легализовать свое отцовство. Он считал, что таким образом возьмет на себя некие излишние тягостные обязательства. К тому же слава Светика становилась все скандальней, а Кольт не любил попадать в центр внимания желтой прессы.

Наташа придумала распространять и подогревать слухи о загадочных иностранных миллиардерах, которые покровительствуют Светику из любви к высокому искусству. Тут же замелькали фотографии, где Светик на банкетах, фуршетах и презентациях беседует с разными состоятельными мужчинами. Петру Борисовичу идея понравилась, и все шло отлично. Но тут вдруг Светика выгнали из Большого.

Умная Наташа использовала это безобразие для очередного витка раскрутки Светика. Оскорбленная балерина не слезала с телеэкрана, ее одухотворенное лицо сияло на глянцевого обложках, она жаловалась публике на интриги, намекала на месть могущественного отвергнутого обожателя.

Петр Борисович пытался договориться, чтобы Светика восстановили в театре, но, выяснив, в чем дело, понял: невозможно. Подобранный специально для нее партнер, самый крупный и сильный из всех танцовщиков, поднимая ее,

надорвал спину. Нашли другого. Но у него случился сердечный приступ. Труппа собиралась на гастроли в Париж, и там солистку Светика нельзя было выпускать на сцену никак. Даже если половину мест в Гранд-опера занять оплаченной группой поддержки, все равно вторая половина покинет зал с шиканьем и свистом. Париж – не Москва.

Когда стало окончательно ясно, что в театре балерину Евсееву не восстановят, и мегаскандал вокруг этой истории всем надоел, Петр Борисович услышал:

– Светик хочет сниматься в кино!

Наташа узнала, что у одной из продюсерских студий есть готовый сценарий по роману известного писателя, где главная героиня – балерина. Фильм сняли быстро и дешево. Светику даже не пришлось утруждаться, читать сценарий. Его переделали таким образом, чтобы вместились максимально возможное количество крупных планов Светика, все персонажи мужского пола поголовно любили единственную женщину, главную героиню, а все персонажи женского пола стремились быть на нее похожими. В кадре Светик меняла наряды и делала свой знаменитый батман. Перед очередной съемкой режиссер быстренько рассказывал ей, что должно происходить в той или иной сцене, и она произносила какой-нибудь приблизительный текст.

Получилось нечто вроде домашнего видео, которое интересно смотреть только в узком семейном кругу. Круг этот ограничился Наташей и Светиком. Даже Петр Борисович бо-

лее десяти минут не выдержал. Наташа заранее позаботилась о положительных рецензиях, но они не помогли.

Провал был полный и безнадежный. А тут еще писатель, человек пожилой и тихий, вдруг разговорился в интервью, что действо на экране нельзя назвать фильмом. Это длинный и дешевый рекламный ролик балерины Евсеевой, вернее, ноги балерины, которую она все время гладит и прижимает к щеке. Нога, безусловно, хороша, но так долго смотреть на нее невозможно, и совершенно непонятно, при чем здесь его роман.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.